

Эрих Мария Ремарк Приют Грез

*Памяти Фрица Херстемаiera
и Люции Дитрих посвящаю*

I

В цветущих садах веял майский ветерок. От веток сирени, нависавших над оградой старой кладки, доносился густой сладкий аромат. Художник Фриц Шрамм медленно бродил по старинным переулкам городка. Время от времени он останавливался — там, где небольшой эркер или старинный фронтон, причудливо вырисовывающийся на фоне вечернего неба, приковывали к себе его взгляд. Рука художника невольно тянулась к альбому для эскизов и быстрыми штрихами набрасывала рисунок. Остановившись в очередной раз, чтобы изобразить на бумаге небольшую полуразвалившуюся калитку, он вдруг улыбнулся, покачав головой, взглянул на карманные часы и зашагал быстрее. Однако вскоре он вновь замедлил шаги и лениво поплелся дальше. Пускай подождут, подумал он, вечер слишком прекрасен.

Перед ним навстречу вечеру шествовали влюбленные парочки.

Отпечаток пьянящего дня, лежавший на всех лицах, скрашивал морщины и неровности кожи — следы нужды, трудов и прожитых лет. Прошлые страдания теперь казались призрачными, как мираж. Приятный вечер прикрыл своими ласковыми руками резкие грани повседневности и провалы в прошлое и как бы говорил тихим голосом: «Погляди на эту весну кругом! Погляди на весну рядом с тобой!» А майский ветерок словно нашептывал на ухо: «Ни о чем не думай, не ломай себе голову, мир так прекрасен, так прекрасен...» И влюбленные крепче прижимались друг к другу и старались встретиться взглядами.

Несказанное любовное томление принес с собой ветер, напоенный ароматами далеких голубых гор и сиреневых садов окрест.

Фриц Шрамм задумчиво следил глазами за полетом ласточек, радостно кружившихся в синеве неба.

— Лу, — произнес он вдруг и тяжело вздохнул. Мысленно Фриц был весь в прошлом и шагал теперь машинально, не замечая весны. Пройдя вдоль улицы, обрамленной каштанами, он очутился возле дома, отделенного от проезжей части небольшим садом.

Сумерки уже сгустились. На дорожки опустилась сиреневая дымка. Фриц остановился и прислушался. Откуда-то доносилась музыка.

Теперь он уже смог различить нежный женский голос, исполнявший знакомую мелодию под аккомпанемент серебристых звуков рояля. Вечерний ветерок разносил песню по саду. Теперь Фриц смог уже разобрать и слова.

Сердце его перестало биться.

Песня из прошлого зазвучала в ушах, картины былого встали перед глазами, и горячо любимый, давно умолкший голос вновь запел.

Вне себя от волнения Фриц подошел поближе.

Это была та самая песня, которую так часто пела ему Она — Она, Исчезнувшая, Далекая, Ушедшая из жизни Лу...

Вечерний воздух наполнился звуками, порожденными любовной тоской:

Слышу до сих пор, слышу до сих пор
Песню юности моей —
Сколько рек и гор, сколько рек и гор

Развели нас с ней!¹

Растревоженный и взволнованный до глубины души, Фриц пересек сад и поднялся по ступенькам. Подойдя к двери музыкальной комнаты, он увидел зрелище столь прелестное, что встал в проеме как вкопанный.

Комната казалась темно-синей из-за сгустившихся сумерек. На рояле горели две толстые свечи. В их свете ослепительно сверкали белые клавиши, распространяя нежные золотистые отблески по всей комнате и обрамляя сказочным сиянием белокурые волосы и нежный профиль молоденькой девушки, сидевшей за роялем. Руки ее небрежно покоились на клавишах. Изящно очерченный рот выдавал легкую грусть, а в синих глазах таилась глубокая печаль.

Фриц тихонько проследовал по террасе дальше. Из какой-то двери навстречу ему вышла хозяйка дома.

— Наконец-то, господин Шрамм, — сказала она сердечно, приглушенным голосом, — а мы уж и не надеялись, что вы к нам заглянете.

— Корите меня, сударыня, — ответил Фриц, склоняясь к ее руке, это все вечер, этот восхитительный вечер всему виной. Но...

Он указал глазами на дверь в музыкальную комнату.

— Да, у нас новая гостья. Моя племянница возвратилась из пансиона. Однако пойдемте же, госпожа советница Фридхайм уже вне себя от нетерпения. Да вот и она сама.

— Ах, ну конечно же, — Фриц обменялся понимающей улыбкой с хозяйкой дома.

Дверь распахнулась, и весьма полнотелая дама, шумя юбками, устремилась к Фрицу.

— Все же он явился, наш маэстро? — воскликнула она и сжала обе его руки. — Ваши друзья безответственные люди, воистину безответственные, — она ласково разглядывала его в лорнет. — Просто бросили нас на произвол судьбы. Ведь мы все жаждем услышать из ваших уст обещанный рассказ о благословенной стране Италии.

— Вы правы, сударыня, — улыбнулся Фриц, — но по дороге сюда я немного задержался, чтобы сделать несколько интересных набросков. Я их тоже принес показать вам.

— Вы их принесли? О, как это мило! Дайте же их мне, ах как интересно!

С этими словами госпожа Фридхайм устремилась вперед, неся рисунки, в то время как Фриц и хозяйка дома следовали за ней, немного отстав.

— По-прежнему полна энтузиазма, — заметил Фриц. — Будь то импрессионизм или экспрессионизм, будь то музыка, литература или живопись — безразлично: она восхищается всем, что именуется искусством.

— И в еще большей степени — самими людьми искусства, — подхватила хозяйка дома. — Теперь она вознамерилась посадить в седло одного молодого поэта. Вы ведь его тоже знаете, это юный Вольфрам...

— Тот, что носит красные галстуки и пишет свободным стихом?

— Не будьте так язвительны. Молодежи свойственно желание выделиться. Некоторые не могут выразить свое революционное чувство иначе, чем нацепив красный галстук.

— Вчера мне пришли в голову аналогичные мысли, когда я увиделся с нашим славным Мюллером, сапожных дел мастером. Он, отец пятерых детей и муж весьма энергичной жены, в десять вечера обязан быть дома, голосует за консерваторов и вообще добропорядочный гражданин. Но однажды, когда я обнаружил у него на книжной полке несколько томов Маркса и Лассаля, он признался, что читал их давненько — в молодости. Кто знает, кем только он не собирался тогда стать! Но сама жизнь и верноподданнический характер, унаследованный им от предков, повернули дело иначе. И главное — он этому только рад. Так что все его запыхавшиеся молодые мечтания, все его великие планы и идеи в конце концов воплотились лишь в красном галстуке, который он надевает по воскресеньям...

¹ Рюккерт Фр. Слышу до сих пор. Пер. В. Летучего.

Такой красный галстук наводит, что ни говорите, на весьма грустные мысли. А разве с нами, сударыня, не происходит что-то очень похожее? Что, в конечном счете, у нас остается? Конечно, красный галстук — это не так уж много, но ведь частенько бывает и куда меньше. Локон, выцветшая фотография, затухающие воспоминания... — покуда ты сам не станешь для других чем-то аналогичным... Ах, лучше не думать об этом...

— Об этом не следует думать, дорогой друг, — тихо повторила хозяйка дома, — особенно в мае, в такой майский вечер.

— Но именно этот вечер и настроил меня на мрачные мысли. Не странно ли, что как раз красота и счастье внушают человеку самые грустные мысли? Однако на меня минорное настроение навяло и кое-что другое...

Из гостиной до них донесся трубный голос советницы:

— Да куда же он подевался?

— Вот у кого настроение всегда мажорное, — улыбнулась хозяйка дома и вместе с Фрицем вошла в гостиную.

— Ну, наконец-то! — воскликнула советница. — А мы уж тут чуть было не заподозрили неладное, видя ваше желание уединиться!

— Да что вы, — возразила хозяйка дома и указала на свои еще густые волосы. — При моей-то седине?

— Для этого мы все же староваты, — добавил Фриц.

— Бог ты мой, вот это мило: вы — и вдруг староваты, — пророкотала советница. — В ваши-то тридцать восемь лет!

— Болезнь старит.

— А, пустяки, пустые отговорки. Если сердце молодо — весь человек молод! Ну входите же, я распорядилась оставить вам чашку чая!

С этими словами советница, невзирая на отчаянные протесты Фрица, наложила ему на тарелку такую кучу пирожных, что хватило бы на целую роту.

Фриц немного поел и огляделся. Чего-то не хватало. Тут дверь в музыкальную комнату отворилась, и вместе с вошедшей юной девушкой в гостиную ворвался аромат сирени.

Хозяйка дома по-матерински нежно обняла ее плечи.

— Не хватит ли тебе мечтать в одиночестве, Элизабет?

Господин Шрамм все-таки пришел к нам...

Фриц поднялся со стула и восхищенно загляделся на очаровательное создание.

— Моя племянница Элизабет Хайндорф. Господин Шрамм, наш дорогой друг, — представила их госпожа Хайндорф.

Два синих глаза взглянули в лицо Фрица, и узкая рука легла в его руку.

— Я немного опоздал, — извинился Фриц.

— Вас легко понять. Когда кругом так красиво, совсем не хочется общаться.

— И все же — в такие минуты тоже тянет к людям.

— По сути — к человеку, которого и на свете-то нет.

— Может быть, к человечеству в этом одном человеке.

— К чему-то безымянному...

— Наша самая светлая тоска никогда не имеет имени...

— Это причиняет такую боль...

— Только в самом начале... Позже, когда все уже знаешь, научаешься быть скромнее. Жизнь — это чудо, но чудес она не творит.

— О нет, творит! — глаза Элизабет сияли.

Фрица тронула ее горячность. Он вспомнил свою юность, когда он с той же искренностью произносил те же самые слова. И ощутил горячее желание сделать так, чтобы этому прелестному существу не сломали его веру в чудо.

— Верите ли вы, что в жизни бывают чудеса, милая барышня?

— О да!

— Сохраните эту веру! Несмотря ни на что! Вопреки всему! Она справедлива! Не

хотите ли сесть рядом?

Фриц подвинул для нее кресло. Элизабет уселась.

— А вы, господин Шрамм, верите в чудо?

Фриц несколько секунд молча смотрел на нее. Потом сказал четко и ясно:

— Да!

Госпожа Хайндорф подала знак слуге. Тот принес на подносе сигары, сигареты и ликер.

— Можете курить, господин Шрамм, — кивнула она Фрицу.

— Это моя слабость, — сказал Фриц и взял сигарету.

— Пауль, принесите и мне сигарету! — крикнула советница.

— Сигару... — тихонько шепнул слуге Фриц. Тот ухмыльнулся и подал советнице коробку черных гавайских сигар.

— Может, вы принесете мне еще и трубку? — возмущенно фыркнула та.

Увидев, что Фриц засмеялся, она уловила заговор между ними и погрозила пальцем.

— Вы тоже курите? — спросил Фриц у Элизабет.

— Нет, я не люблю, когда женщины курят.

— Вы правы. Не каждой женщине это идет. Вам лично совсем не пойдет!

— Что он говорит? — воскликнула советница, заподозрив еще одну шпильку в свой адрес.

— Мы говорили о курящих женщинах...

— Ну, вы, художник, вряд ли отличаетесь узостью взглядов. — Верно, но я смотрю на это с художественной точки зрения.

— Как это?

— Разные бывают курильщики.

— Но в любом случае они окружают себя дымовой завесой, то есть наводят туману, — улыбнулась хозяйка дома.

Тут уж засмеялась и советница:

— Потому-то мужчины и курят так много, не правда ли, господин Шрамм?

— Конечно. У мужчин курение — потребность, а у женщин — кокетство!

— Ах, вот как! Вы считаете, что сигарета не доставляет нам никакого удовольствия?

Что мы не способны ощутить ее вкус?

— Этого я не думаю. Но женщина может к чему угодно привыкнуть и от чего угодно отвыкнуть, если полагает, что это ей идет или нет.

— Значит, курение мне идет, — иронично улыбнувшись, заметила советница.

— Я сказал: если она полагает! Это еще не значит, что так оно и есть.

— О, маэстро, как вы жестоки.

— Вы, сударыня, находитесь над схваткой. Ведь причина курения у женщин уже указывает, какой женщине можно курить. Именно той, которая кокетничает.

— Вот и отлично, — усмехнулась советница и жадно затянулась.

— Женщина ангельского типа с сигаретой во рту смотрится неэстетично. А демонический тип может благодаря сигарете выглядеть весьма обольстительно. И вообще — черноглазой брюнетке курение идет больше, чем светловолосой. Женщины инстинктивно чувствуют это. Вот почему на юге гораздо больше заядлых курильщиц.

— Я этого не люблю, — заметила Элизабет.

Сквозь открытое окно издали донеслось пение.

Разговор перешел на обыденные темы. Фриц в задумчивости откинулся на спинку кресла, окутавшись колечками голубоватого дыма. Он думал о своей неоконченной картине, стоявшей на мольберте. Она должна была называться «Спасение» и изображать сломленного горем мужчину и девушку, нежно глядящую его по волосам. Для мужчины он уже нашел натурщика. И теперь ожидал, когда счастливый случай поможет ему подобрать модель для девушки. Она должна быть воздушной и очень доброй. Но пока ничего определенного не встретилось. Руки ее должны излучать свет, доброту и радость. Погруженный в свои мысли, Фриц взглянул в сторону Элизабет. Вот кто мог бы стать этой светоносицей, полной тихой

сдержанной силы. Ее тонкий, нежный профиль на фоне темного гобелена напоминал добрую сказку Эйхендорфа².

Тут Элизабет немного склонила головку.

Фриц вдруг весь напрягся. Вот она... Вот она — именно та, которую он искал, — девушка для его картины. Он даже подался вперед. И само лицо, и его выражение — все такое, как надо. Он решил, что сразу же улучит минутку и поговорит об этом с госпожой Хайндорф.

Задумавшись о своем, он совсем пропустил мимо ушей разговор за столом. А ораторствовал большей частью молодой поэт, до того державшийся скромно и молчаливо. Теперь же он говорил без умолку, причем очень возбужденно жестикулировал, назвал Гёте филистером, а его житейскую мудрость «уютном прикаминной скамеечки».

Фриц усмехнулся. Вечно эта трескотня, этот перезвон бубенцов... Между тем жизнь спокойно течет себе дальше.

Молодой поэт принялся за Эйхендорфа:

— Эйхендорф — эта сентиментальная романтическая размазня — давно устарел...

Но тут Элизабет перебила его речи:

— А я люблю Эйхендорфа!

Юноша умолк, смешавшись.

— Да, — продолжала Элизабет, — он намного душевнее, чем многие современные поэты. Ему совсем не свойственно пустозвонство. И он так любит лес, так любит бродить пешком!

— Готов вас поддержать, — вступил в разговор Фриц. — Я тоже очень люблю его. Его новеллы и стихи полны неувядаемой красоты. Он очень немецкий поэт! И при этом лишен национальной узости. Нынче это большая редкость.

Сколько раз еще до поездки в Италию я повторял в уме или бормотал ночью вслух его строки:

Как золото звезды блистали,
А я был так одинок.
Вслушивался я вдали,
Где пел почтовый рожок.
В сердце моем тревога,
Виски мои горячи...
Кого прельстила дорога
В роскошной летней ночи?³

— Вы были в Италии... — медленно промолвила Элизабет.

— Эта тоска по Италии почему-то сидит в нас, немцах, — заметил Фриц. — Во всех поголовно. Вероятно, она, эта тоска по итальянскому солнцу, коренится в двойственности немецкой души — точно так же, как и тоска по мраморному храму Акрополя. И Гогенштауфены, из-за своей любви к Италии потерявшие империю и жизнь, от Барбароссы вплоть до юного Конрадина, казненного итальянскими палачами⁴, — и наши художники,

² Йозеф Эйхендорф (1788–1857), немецкий писатель-романтик. (Примеч. ред.)

³ Эйхендорф И. Томление. Пер. В. Микушевича.

⁴ Гогенштауфены, династия германских королей и императоров Священной Римской империи в 1138–1254 гг., в 1197–1268 гг. также короли Сицилийского королевства. Последний Гогенштауфен — Конрадин, сын Конрада IV — погиб в Италии в 1268 г. в возрасте 16 лет.

поэты, Эйхендорф, Швинд, Гейнзе, Мюллер⁵, Гёте — его «Миньона»...

— Ты знаешь край... — затянула было советница.

— Спой-ка нам это, Элизабет, — попросила госпожа Хайндорф.

Ничуть не жеманясь, Элизабет направилась к роялю.

Откинувшись на спинку стула, Фриц слушал и не мог оторвать взгляда от изящной головки с тяжелым узлом золотых волос на затылке, окруженной нежным мерцающим ореолом света.

— Ты знаешь край...

В саду зашумели кроны деревьев. Сквозь тихие звуки вступления вновь зазвучал чистый девичий голос:

— Ты видел дом...

Наступила тишина. Медленно растаял в воздухе последний аккорд. Элизабет встала и вышла на террасу.

Молодой поэт пробасил:

— Но это же прекрасно!

Какое-то время все молча оставались на своих местах, затем советница предложила гостям разойтись. Но хозяйка дома все еще не хотела отпускать Фрица — ведь он пришел так поздно. И Фриц остался, поджидая, когда хозяйка дома проводит гостей. Тут в гостиную вернулась Элизабет. Фриц только собрался поблагодарить ее за пение, как вдруг заметил, что она плачет. В испуге он схватил ее за руку.

— Да нет, пустяки, — пробормотала Элизабет, — сущие пустяки. Просто на меня что-то нашло. Душа была так полна, что я вышла на террасу. Услышала внизу девичий смех и низкий мужской голос. И тут вдруг накатило. Не говорите тетушке, к тому же все уже и прошло.

— Можете довериться мне, — проронил Фриц.

— Я и сама это чувствую, мне с вами так спокойно, хоть я вас почти не знаю. Мне кажется, вы всегда будете готовы помочь мне, если понадобится помощь.

— Вы совершенно правы. — Фриц был растроган. — Своими словами вы очень облегчаете мою задачу. Дело в том, что я собирался обратиться к вам с большой просьбой. Сейчас я работаю над одной картиной. На ней два человека — мужчина и девушка. Мужчина, сломленный ударами судьбы, в полном отчаянии уронил голову на руки. Девушка, глаза и руки которой источают свет, нежно гладит его по волосам. Мужчину я уже написал. А модель для девушки нашел только сегодня. Это вы. Согласитесь ли вы и разрешите ли вас написать?

— А вы очень любите эту свою картину? — спросила Элизабет вместо того, чтобы ответить.

— Очень. Ведь в ней есть и другая идея. Она должна изображать ту минуту, когда человек находит дорогу от Я к Ты, когда его эгоизм рушится, когда он отказывается жить только для себя и отдает свой труд какой-то общности людей. Молодежи. Или всему человечеству. А то, что, отказавшись от счастья, он все же находит известное утешение и величайшую компенсацию, должна символизировать светозарная девушка. Трагедия творчества...

— Говорят, все художники до такой степени любят свои творения только потому, что они составляют часть их самих.

— Что ж, так, пожалуй, оно и есть.

В комнату вернулась госпожа Хайндорф.

— Стало совсем темно. Может, зажечь свет?

⁵ Мориц фон Швинд (1804–1871), австрийский живописец и график.

Иоганн Якоб Вильгельм Гейнзе (1746–1803), немецкий писатель и теоретик искусства.

Вильгельм Мюллер (1794–1827), немецкий поэт-романтик. (Примеч. ред.)

— Не надо, — попросила Элизабет. — Сумрак так прекрасен.

— Сударыня, мне нужно кое-что вам сообщить. Вы, вероятно, помните, каких мучений стоило мне найти первую модель для моей картины. И вот теперь с потрясающей легкостью я нашел вторую в вашей племяннице. Разрешите ли вы ей позировать мне?

— С радостью, дорогой друг, — ответила госпожа Хайндорф. — Я так рада, что ваши желания столь быстро исполняются.

— И вы бы не возражали, если бы мы уже вскоре приступили к сеансам?

— Естественно, по мне так хоть завтра...

— А где? Я бы предпочел приходить к вам, хотя у меня в мастерской все под рукой, да и освещение лучше.

Госпожа Хайндорф поглядела на него долгим взглядом, потом перевела его на Элизабет.

— Ну, так как, Элизабет?

Та ответила сияющими от радости глазами.

— Ну, хорошо, — мягко заметила госпожа Хайндорф, — я уже знаю, что ты любишь больше всего. Она — большая мечтательница. — Госпожа Хайндорф с улыбкой повернулась к Фрицу, а потом, сразу посерьезнев и твердо глядя ему в глаза, добавила: — Я знаю вас, господин Шрамм, и этого достаточно. Почему бы моей племяннице не приходить к вам! Какое нам дело до отживших понятий! Когда ей прийти завтра?

— Благодарю вас, сударыня, — Фриц почтительно прижал ее руку к губам, — в три часа, если вы ничего не имеете против.

— Ну так как, Элизабет?

Та энергично кивнула:

— Да-да...

Госпожа Хайндорф улыбнулась:

— Так я и думала. Однако вечер нынче так хорош. Давайте посидим еще немного на террасе. И выпьем за вашу находку рюмочку светлого, золотистого вина.

Она позвонила, велела слуге перенести плетеные кресла и подушки на террасу и зажечь несколько цветных фонариков.

Ночь уже вполне вступила в свои права. Среди цветущих вишневых деревьев висела полная луна. Вдали чернели леса, окруженные серебристым сиянием. В небе мерцали первые звезды. Вино искрилось в бокалах.

Госпожа Хайндорф подняла свой бокал:

— Выпьем за вашу удачную находку, за вашу картину и за искусство!

Бокалы легонько звякнули.

— За находку, — тихо промолвил Фриц и осушил свой бокал одним духом.

Все помолчали. Каждый погрузился в свои мысли.

— Лу... — внезапно вырвалось у Фрица.

— Рана все еще не зажила? — тихонько осведомилась госпожа Хайндорф.

— Она не заживет никогда, — пробормотал Фриц и только тут спохватился. — Не хочу жаловаться. Мне есть что вспомнить, содержание моей жизни не было лишь пустыми грезами, как у моего бедного друга Хермайера, давно спящего в земле сырой.

— Расскажите о нем.

— Он был художник-декоратор. Из заработанных денег он отрывал от себя каждый грош, чтобы купить книг. Он читал ночи напролет. Знал наизусть чуть ли не всего Гёте. Мало-помалу в нем самом проснулся поэт. С той поры он писал ночами стихи и драмы. И твердо верил в свой успех.

Как часто он с воодушевлением говорил о том, что на гонорар за свою драму, которая непременно произведет фурор, он поедет в Италию! И даже учил для этого итальянский язык... Хермайер не дожил ни до успеха своей драмы, ни до поездки в Италию. Вскоре он скончался от застарелой болезни легких.

Фриц невидящими глазами уставился в одну точку перед собой.

— Кто-то может сказать: один из множества непрактичных дураков-немцев. И вероятно, будет прав. Но для меня в этом заключено больше величия, чем в завоевании мира.

Он умолк и стал глядеть в темноту. В тишине ночи где-то тихонько плескался фонтан. И волшеббно светились звезды.

— Все здесь дышит миром, — промолвила Элизабет.

— Словно уже наступило лето, немецкая летняя ночь, — добавила госпожа Хайндорф.

— В немецкой летней ночи заключена странная магия, — раздумчиво начал Фриц. — И вообще в нашей родине. Пожалуй, ни один другой народ не испытывает такого восхищения перед чужестранным, такой тяги к другим мирам и тоски по дальним далям, как мы, немцы. Более того, эти чувства частенько даже заходят слишком далеко и оборачиваются обезьянничаньем, не заслуживающим ничего, кроме презрения. И тем не менее: пусть наш добропорядочный немец Шмидт спокойно станет американским гражданином Смитом, пусть он говорит по-английски, назовет своих детей Мак и Мод и станет плевать на Германию. Уверяю вас, все это будет внешняя или показная ребячливость! Как только этот мистер Смит услышит звон рождественских колоколов, почует аромат родной рождественской коврижки или же увидит усеянную огнями рождественскую елку, он тут же, несмотря на свой English spoken⁶ и Мод с Маком, вновь превратится в старого доброго немца Шмидта и, вопреки всем деловым ухваткам и погоне за долларами, вновь поверит в сказки и чудеса, которые вошли в плоть и кровь каждого настоящего немца, — я имею в виду не тех, кто породнился с евреями или славянами. И пусть даже он тысячи раз глухими беззвездными ночами кусал себе руки, он все равно, все равно превратится! Это и есть самое упоительное, вечно юное в нашем народе, это и есть многократно высмеянный простодушный немецкий Михель, его детская непрактичность. Я не политик и плюю на все политические течения. Я — человек, это и есть моя политика! К тому же я еще и художник. Поэтому для меня непрактичный Михель, все еще увенчанный невидимой короной, для которого жизнь по-прежнему полна чудес, восторгов и веры, стоит намного выше холодного и расчетливого дельца, каковыми стали наши кузены, для коих жизнь — всего лишь арифметическая задача. Мир прекрасен. Но у нас он прекраснее всего. Это субъективно, и я понимаю, что англичанин, француз, испанец тоже имеют право так сказать. А уж итальянец тем более. И все же я это говорю и тоже имею на это право. Когда я в Риме под сверкающим синевой куполом неба восхищался пентеликским и каррарским мрамором, на меня вдруг навалилась такая невыразимая тоска по летней ночи в Германии, такая ностальгия, что я тут же уехал домой и растрогался чуть ли не до слез, вновь увидев первую березку...

Фриц говорил это, уже стоя, а кончив, порывисто поднял свой бокал:

— Этот последний бокал я посвящаю Родине, Германии!

Подул легкий ветерок, звезды замерцали, и пестрые фонарики едва заметно качнулись.

Звякнули бокалы. Элизабет воскликнула:

— За нашу дорогую, любимую Родину!

Вино отливало золотом.

Все осушили бокалы до дна.

II

Фриц Шрамм украшал свою мансарду, свой Приют Грез.

Накинув желтоватую холщовую куртку, он энергично сновал по комнате, поставил три лилии в старинный оловянный кувшин и удовлетворенно оглядел дело своих рук. Потом, не торопясь, набил свою трубку темного дерева и стал пускать голубоватые кольца дыма в воздух, полный танцующих пылинок.

В дверь тихонько постучали. Фриц поднялся:

⁶ Разговорный английский(англ.).

— Прошу.

Элизабет робко вошла. И невольно остановилась при виде того, что представилось ее взору.

Небольшая мансарда с темными стенами. На них — картины, множество картин. Вдоль одной стены — темный стеллаж с книгами, яркие переплеты которых вспыхивали на солнце. На полке, покрытой темной тканью, — сверкающие раковины, разноцветные камни и золотистые куски янтаря. Посреди них — фигурка коричневого танцовщика из мореного дуба. Слева лежал череп, увенчанный венком из красных роз. Чаша, полная темно-красных роз, под висящей на стене пурпурной тканью с гипсовой маской, снятой с лица умершего Бетховена. На скошенной стене — несколько офортов и картина, затянутая черным крепом.

— Добро пожаловать в Приют Грез, — сказал Фриц и в ответ на вопрошающий взгляд Элизабет добавил: — Там — мой уголок Бетховена, как раз рядом с Окном Сказок. Все эти вещи — дорогие напоминания и сувениры. Перед ликом Бетховена всегда цветут розы в знак молчаливой памяти и немного восхищения. Цветы так искренни — и всегда красивы.

Элизабет была совершенно подавлена необычайным уютом и волшебством этой комнатки. Цветы столь нежно пахли, что у нее чуть слезы не выступили на глазах. Она сама не могла понять почему. Как странно. С некоторых пор она часто плакала — без всякой причины. И часто улыбалась и радовалась всей душой — тоже без причины. Ей казалось, что вот этому человеку она может открыть всю душу. Удивительно покойно с ним.

— Для работы осталось всего два часа света, — сказал Фриц. — Не бойтесь, вам не придется провести их стоя. Может, в общем и целом не больше получаса. Но мне нужно будет часто на вас смотреть, так что два часа быстро пролетят. На какое время отпустила вас госпожа Хайндорф?

— Она разрешила мне оставаться тут, сколько захочу.

— Чудесно. Тогда мы сначала немного порисуем, а потом сможем и поболтать, верно? Сейчас мы пойдем в мастерскую.

Они вошли в соседнее помещение, где были огромные окна со светлыми занавесками; на стенах висело множество неоконченных эскизов и набросков. Фриц вытащил на свет божий какую-то папку и установил поровнее одну из картин.

— Я уже рассказал вам вкратце главную мысль моей картины, насколько это вообще возможно. Здесь, в папке, мои эскизы к ней. А здесь — студии с мужчиной-натурщиком. Тут, на мольберте, он уже написан маслом. По этим наброскам вы видите, как примерно я представлял себе девушку. Вы замечаете, что поза ее везде почти совпадает, в то время как лицо да и фигура девушки меняются, — признак того, что я все время пребывал в поиске. Но ищущий находит. Не попробовать ли нам сейчас зафиксировать позу? Вам лучше всего встать перед этим голубым занавесом. А теперь подумайте об отчаявшемся страннике в пустыне, которому вы, словно посланец небес, приносите спасительную воду жизни. Вот так, хорошо, руки немного ниже, лицо чуть ближе к занавесу... Стойте так, пожалуйста.

Фриц схватил лист бумаги, и карандаш размашисто полетел по белому полю.

— Так, — сказал Фриц спустя какое-то время, — движение нам удалось ухватить. Теперь только быстренько зафиксировать саму позу, чтобы завтра мы могли снова в нее встать.

Он взял фотоаппарат, вставил кассету и нажал на спуск.

— Благодарю! Вы свободны.

Элизабет подошла поближе.

— Можно взглянуть?

— Пожалуйста, сделайте одолжение.

— Но ведь покамест еще ничего не видно...

Фриц улыбнулся:

— Так быстро это не делается. Вот тут вы видите предплечье и наиболее четко — само плечо. Поначалу самое главное — ухватить движение. Однако вскоре вы будете удовлетворены в большей степени. Дело в том, что я хотел бы набросать карандашом ваш

профиль. Или вы уже устали? Непременно скажите, если так. Когда на художника снисходит вдохновение, он становится ужасно бесцеремонным. Нет? Не устали? Ну тогда...

Он пододвинул ей кресло.

Головка Элизабет прелестно выделялась на голубом фоне. Прежде чем взяться за карандаш, Фриц какое-то время очарованно разглядывал изящные округлости линий. Довольно долго он работал без перерыва. Потом прищурился и начал распределять светотени.

— Вам скучно? — спросил он. — Увлечшись работой, я совсем забыл, что должен вас развлекать...

— Нет, не должны, — возразила Элизабет. — Я вижу, на стене передо мной висит портрет красивого юноши, я поглощена разглядыванием этого лица. В нем столько молодой энергии, дерзости и в то же время так много рефлексии, у рта даже образовались горькие складки. Прекрасный портрет...

— Соответствует оригиналу.

— Он живет где-то поблизости?

— Да, в моей комнате.

— Разве с вами еще кто-то живет?

— Он — мой юный друг и потому живет у меня. Его зовут Эрнст Винтер, теперь он студент Берлинской консерватории.

— Очевидно, он очень любит вас.

— Я отвечаю ему взаимностью.

— Но он намного моложе.

— На этом как раз и покоится наша дружба. Он юн, вспыльчив и неводержан — а иногда и мечтателен, и скептичен, как вы весьма верно подметили. Я же подвел итог своей жизни и стараюсь понять людей, составляющих мой круг общения, чтобы гармонично расширить его. Последствия этого — зрелость и опыт. Так мы взаимно дополняем друг друга. В моей дружбе с ним присутствует нечто вроде отеческого чувства, он нуждается во мне больше, чем я в нем. Однако в любви и дружбе никогда не спрашивают, получишь ли обратно той же монетой. Он у меня не один. У меня бывают еще несколько человек, все люди молодые — и все они мои друзья. Я люблю молодежь и радуюсь, если она готова что-то взять у меня.

— Вы подвели итог своей жизни?

— Это звучит, пожалуй, немного горько, но на самом деле никакой горечи и в помине нет. Я большой жизнелюб. Самоотречение никому не нужно. Более того: я прожил свою жизнь сполна, имел все, что жизнь хотела и могла мне дать. Правда, все пришло и ушло чересчур быстро. Поэтому я и отодвинулся немного раньше других в тень за пределы светового круга. И в этом тоже есть своя прелесть. Актер стал в большей степени зрителем.

— Разве жизнь — это спектакль?

— И да и нет. Тут вряд ли можно доискаться до истины. Наша способность к пониманию похожа на змею, кусающую себя за хвост. Объективного познания не существует. Мы все обречены на вечный бой. Кто же будет судить и проводить различие между истиной и зрелищем, между «быть» и «казаться»? Вот он — Фриц указал на портрет Эрнста — тоже из породы таких борцов. Он человек действия и потому легче склоняется к осуждению жизни, чем другие, способные лишь обсасывать свои блеклые мысли. Но ведь мысли невидимы, — а то, чего никто не видит, по законам этого мира разрешено. Зато дела — вот где беда-то! Ну, в общем, он достаточно силен и бесцеремонен, чтобы плевать на оценку общества. Покамест она ему и не нужна — и слава Богу. Вообще, наша законность — ах! Ежели кто-нибудь укокошит человека, он будет наказан как убийца. А ежели я открою большую фабрику и тем самым уничтожу сотню мелких собственников, то я — добропорядочный делец. За разговором я набросал эскиз вашей головы, а кроме того — начало смеркаться, так что нам придется закончить.

Он показал Элизабет рисунок и медленно убрал на место рисовальные

принадлежности. Потом огляделся, ища ее.

Элизабет стояла перед портретом Эрнста Винтера и внимательно его разглядывала.

— Он скоро приедет, — заметил Фриц. — У него каникулы, которые продлятся несколько недель. И рояль здесь, в мастерской, стоит для него. Эрнст обожает импровизировать. Больше всего я люблю слушать в его исполнении Бетховена и Шопена. Однако пойдемте! В Приюте Грез наступает час красоты: закат солнца.

Немного помедлив, Элизабет быстрыми шагами подошла к Фрицу, сжала обеими руками его руку и сказала:

— Вы очень хороший человек. У вас все так красиво, так непривычно... Никаких будней — сплошное воскресенье. Похоже на летний вечер. При этом у вас есть чувство родины и тяга к миру... Будьте и моим другом.

Фриц был тронут. После уличной пыли и бесцветных людишек он наткнулся на душу, столь же чистую, как синие итальянские озера. Фриц молча взял Элизабет за руку и направился в свой Приют Грез.

Темная мансарда встретила их сказочным предвечерним ароматом роз. Замирая от восторга, они остановились на пороге. Закат усеял последними золотыми отблесками суровое лицо Бетховена, а разноцветные камешки и раковины вспыхнули и засверкали волшебным светом.

На старинной резной полке стояли пестрые чашки, старая посуда и оловянные тарелки. Фриц осторожно вытащил откуда-то три изумительных зеленых бокала и пыльную бутылку. Он поставил бокалы на стол и молча разлил вино.

Один бокал Фриц пододвинул к Элизабет, — занятая своими мыслями, она молча следила за его действиями, — вокруг второго бокала положил розовый стебель из букета в бетховенской вазе, взял в руку третий и сказал:

— Давайте выпьем за нашу молодую дружбу, за все прекрасное в этом мире и за умершую...

Бокалы звякнули.

Элизабет застыла на миг. Потом по ее телу пробежала дрожь, и она до дна осушила бокал. Фриц взял розовый стебель, отломил одну розу, окунул ее в третий бокал и протянул цветок Элизабет. Затем вылил вино из третьего бокала в розы, стоявшие перед маской Бетховена, и подвинул их к женскому портрету, утопавшему в цветах. После этого Фриц медленно взял в руки старинный канделябр и зажег свечу.

— Ах, Лу... — пробормотал он, уже не владея собой, и взглянул на портрет. В мерцающем, дрожащем пламени свечи лицо словно ожило — казалось, будто прекрасные глаза улыбнулись, а алые губы дрогнули.

— Простите меня, — промолвил Фриц, — иногда на меня находит. В особенности, когда я пью в память о ней. Вино для мертвых губ, цветы для бесцветного лба... Все отзвучало, исчезло... О, как далеко это все, что некогда было моим, моим...

Он умолк и посмотрел на Элизабет. Слегка откинув голову, она смотрела на него широко открытыми глазами и беззвучно плакала.

— Не надо плакать, — пробормотал Фриц. — Не надо...

Сумерки немного сгустились, пламя свечи засверкало ярче. В окно влетела бабочка, покружилась вокруг свечи и свалилась, опалив крылья.

— Бабочки... Люди... Кто только не опалил себе крылья на свече судьбы...

— Расскажите мне что-нибудь о своей жизни, — попросила Элизабет.

Фриц молча глядел на пламя.

— Она носила имя Луиза, но все называли ее Лу... Посмотрите на ее портрет в мерцающем пламени свечи — такой она была при жизни. Однажды я увидел Лу на прогулке весенним вечером. Она была прекрасна. Она была гаванью для кораблей моих желаний, ее глаза — звездами во мраке моего бытия, а ее душа — спасительным благом и мостиком над бездной моей отчужденности. Мы с ней прожили бурную, пьянящую весну и по брожению крови в наших жилах уже предчувствовали приближение жаркого лета. Но когда наступила

осень, мы мало-помалу вернулись на землю. У меня были слабые легкие, и я был гол как сокол, а она — обручена с достойным человеком, которого уважала. С кровоточащим сердцем я вырвался из ее объятий: тогда я полагал, что смогу прожить всего несколько лет. Разве я мог приковать ее расцвет к моему увяданию? Вскоре после этого я продал несколько картин и уехал, так как забыть ее был не в состоянии. А когда спустя несколько недель тоска погнала меня назад, я узнал, что и она не смогла вынести разлуки. Она порвала с тем человеком и со своей семьей и хотела вернуться ко мне. Несмотря ни на что — ни на болезнь, ни на бедность, ни на проклятье семьи. Не найдя меня, она вернулась домой. И заболела. Ее последними словами были слова любви и мое имя. Так сказала ее мать. Когда я приехал, на ее могиле цвели темно-красные розы. Больше я ее никогда не видел... Забыть ее я не в силах. Жизнь без нее для меня — иллюзия и греза. Единственная радость — это часы сумерек, когда свечи горят перед ее портретом, написанным мной в счастливые дни. Тогда ее глаза вновь мерцают в обманчивом блеске пламени, как некогда, и ее нежные алые губы вновь улыбаются, как некогда, и дорогой, любимый голос шепчет давно отзвучавшие знакомые слова, — в такие минуты моя тоска дрожит и трепещет, а душа благословляет мучительную память — и все, все поет старую песенку:

Слышу до сих пор, слышу до сих пор,
Песню юности моей...

Сумерки заполнили всю комнату, пламя свечи соткало корону вокруг золотых волос Элизабет. Она плакала и сквозь слезы смотрела на портрет покойницы. Все ее существо пронзил ужас перед великой загадкой жизни, время от времени даже мерещилось, будто ее пульс выстукивает одно-единственное слово: бренность. Пусть наше счастье взлетает до звезд и солнца и мы от радости воздеваем руки к небу, но однажды все наше счастье и все мечты кончатся, и останется одно и то же: плач о потерянном. Быть человеком — тяжелая доля! Хотеть вечно держать друг друга за руки — и вечно терять друг друга в соответствии с вечными законами. Всю жизнь бороться, сражаться, торжествовать, страдать, а в конце концов все потерять и остаться с единственным и последним утешением — песней о ласточке:

Сколько рек и гор, сколько рек и гор
Развели нас с ней!
Ах, не принесет, ах, не принесет
Счастье ласточка с собой.
Но она поет, но она поет,
Как той весной.

Жизнь течет дальше, дальше, пока однажды и о нас не пропоют любимые уста:

Сколько рек и гор, сколько рек и гор
Развели нас с ней!..

С трудом подбирая слова, Фриц продолжал:

— У нее был небольшой, но приятный серебристый голосок. Песню, которую она так любила, вы пели в тот вечер, когда я впервые вас увидел: «Слышу до сих пор...» Песня эта стала для меня символом. Когда я после месяцев мучений вновь вернулся к жизни, у меня не осталось никаких личных желаний. Дабы не влачить жалкое существование, а приносить пользу людям, я собрал вокруг себя молодежь. Пришел Эрнст, потом и другие. Приносить пользу человечеству — слишком высокие слова для моих скромных усилий, но на большее меня не хватит, да я и не способен. Вот я и стараюсь помочь молодым стать людьми. И уже жить без них не могу. Так и течет моя жизнь день за днем, покуда не придет срок, тогда

богиня Норна разорвет нить моей судьбы и меня вновь поглотит бескрайний мрак.

Между тем стало совсем темно.

В душе Элизабет звучали никогда не слышанные мелодии. Ее переполняло желание пожертвовать всем для этого человека, открыть ему душу и найти у него понимание и снисхождение. Ее бил озноб, и на великое и неизбежное одиночество жизни она смотрела обезумевшими от горя глазами.

Вскочив с места, Элизабет схватила Фрица за руку.

И, вспыхнув, выпалила сквозь слезы:

— Позвольте и мне быть рядом с вами... Я так хочу помогать вам... Помогите же и вы мне... Жизнь зачастую так сложна... И так нужно, чтобы рядом кто-то был...

Фриц взглянул ей в глаза.

— Элизабет, — прошептал он едва слышно. — Ты так на нее похожа. Я принял тебя в свое сердце, как только услышал твой голос. Мой дорогой юный друг...

— Благодарю вас, о благодарю вас, — пылко воскликнула Элизабет.

— Нет, не то, — перебил ее Фриц, — мои молодые друзья говорят иначе. Разве ты хочешь быть исключением? Мои молодые друзья называют меня «дядя Фриц».

— Дядя... Фриц — благоговейно повторила Элизабет.

Он поцеловал ее в лоб.

Огонь свечи упал на висевший на стене портрет. Казалось, красивые глаза замерцали и заискрились, а розовые губы разомкнулись в улыбке.

III

— Куда мог подеваться дядя Фриц? — Паула капризно дернула головкой и осторожно поставила в вазу букет сирени.

— Придет, не беспокойся, — улыбнулся Фрид. — Ведь ты только что вошла, имей терпение. Я уже битый час его дожидаясь.

— Разве дверь была открыта?

— Нет, заперта, но ключ торчал в замке.

— Он ведь знает, что мы приходим по пятницам. А, нашла! — Паула победно помахала блокнотом. — Тут что-то написано!

— В самом деле?

— Натурально! Сидишь тут битый час и ничего не видишь! Ну Фрид! Ни на что путное мужчины не способны!

Еще называют себя венцом творения! Итак: тут сначала несколько стихотворных строк, а потом: «Милые мои дети!..» Ага! «...Мне нужно пойти в город, чтобы купить сахару к чаю, киноварь и кобальтовую синь для палитры, а также шоколадные конфеты для лакомки Паулы. Кекс и масло на столе. Где чашки и сахар, вы знаете. Чай тоже. Чувствуйте себя как дома. Фриц».

— Насчет лакомки — это камешек в твой огород, — ввернул Фрид.

— Отнюдь! Ох уж этот дядя Фриц! Вовсе я не лакомка, — возмущенно выпалила Паула, грызя кекс.

— Совсем не лакомка, — подтвердил Фрид и протянул ей всю вазочку.

— Фрид, до чего же ты противный! — она топнула ножкой. — Научился у этого Эрнста, слова не скажет без насмешки. Мне восемнадцать лет, прошу это учесть! Я уже не ребенок, а молодая дама!

— В этом никто и не сомневается!

— А вот и нет! Ты сомневаешься! И обращаешься со мной, как с ребенком! Сомнение, выраженное в действиях.

— Нижайше прошу о прощении, сударыня!

— Ну вот, ты опять ехидничаешь.

— Ах... Значит, так: прости, Паульхен, ты — молодая дама.

- По правде?
— Воистину!
Ее плутовские глазки смеялись:
— Вот и отлично! Ах, Фрид, глупенький, я вовсе не хочу быть молодой дамой.
Она весело расхохоталась.
Фрид совсем растерялся.
«Вот и пойми этих длинноволосых», — подумал он.
— Фрид...
— Ну что еще?
— Завтра мы пойдем принимать воздушные ванны, ясно?
— С удовольствием, Паульхен. Может, пойдем и на море, поплаваем?
— Отличная мысль! Чем больше отдаешься солнцу, воде и ветру, тем лучше! Ах, Фрид, до чего же приятно, принимая воздушные ванны, сбросить с себя одежду и предоставить доброму солнышку нежить и ласкать твое тело! Подумай только, недавно я сказала что-то подобное одной приятельнице, и та сочла все это в высшей степени неприличным. Вот какие люди еще существуют на белом свете!
- Они полагают, что их тело — сосуд греха. А грех-то и есть главная радость жизни!
- Дядя Фриц тоже всегда это повторяет. Мы должны не стесняться своего тела, а радоваться ему! Он и сам поклонник красоты! Более того! Он — служитель красоты! Как великолепно изображает он невинную наготу! Если я когда-нибудь и выйду замуж, то только за такого, как дядя Фриц. Да только второго такого не найти!
- А ты знаешь, что он опять взялся за ту большую картину? Он нашел для нее модель!
- Знаю, сударь. Это моя школьная подруга. Элизабет Хайндорф.
- Она, наверное, существо особого сорта.
- Само собой.
- Ничего удивительного, раз она твоя подруга.
- Вода уже кипит? Настройся на что-то другое, ладно?
- Чайник уже поет.
- Тогда тащи сюда и чайник и заварку. А также тарелки и чашки. Чтобы дядя Фриц не счел нас за лентяев.
- Фрид послушно расставил на столе тарелки и чашки, покуда Паульхен ловко заваривала чай.
- Ах, Фрид! Все наоборот! Цветы поставь вон туда.
- Может, с художественной точки зрения ты и прав, но с практической — все совсем наоборот. О, бестолковые мужчины, что бы вы делали без нас!
- Ты права, Паульхен, без вас и жить не стоило бы! — раздался веселый голос от двери.
- Наконец-то, дядя Фриц! Ну-ка покажи, что ты купил.
- Тебя опять надули. О, мужчины!
- Она вздохнула и принялась разглядывать покупки.
- А Фрид поздоровался с Фрицем.
- Над чем нынче трудился, Фрид?
- Да так, ничего особенного. После обеда немного погулял по городскому валу и вновь сделал наброски нашего прекрасного старинного собора. На этот раз со стороны реки. А потом полежал на солнышке в Шелерберге и помечтал.
- Это тоже труд, Фрид. Труд отнюдь не всегда и даже реже всего творчество. Гораздо больше времени занимает восприятие, и это не менее важно. Труд бывает активный и пассивный.
- Я наблюдал за облаками... Облака — вечные изменчивые странники. Облака — как жизнь... Жизнь тоже вечно меняется, она так же разнообразна, беспокойна и прекрасна...
- Только не говори этого при Эрнсте. Если он не в духе, то разразится целой тирадой о незрелых грезах недорослей...

— Бог с ним, Фриц. Когда он в духе, то грезит еще больше нашего брата. Мир прекрасен. И прекраснее всего — без людей.

— В последнем письме Эрнст пишет так: «Самое прекрасное на земле — это люди. Меня занимает только живое. И в человеке оно, по-моему, наиболее ярко выражено». Вы оба правы, и надеюсь, оба признаете правоту друг друга.

— Дядя Фриц, кончай разговоры, садись-ка за стол и пей чай. У меня все готово, а вы даже не обращаете внимания, — надула губки Паульхен.

— Как красиво ты накрыла на стол!

— Правда, красиво, дядя Фриц?

— Да, очень даже красиво!

— А ты, дядя Фриц, самый лучший человек на земле. Фрид никогда ничего приятного не скажет, он думает только об облаках и щеглах.

— Потому что ты сочтешь, будто я насмехаюсь.

— Паульхен, ты опять принесла цветы?

— Да. И даже немного стащила. В городских скверах столько сирени, что я решила: ничего страшного, если там будет чуть меньше. А для нас чуть больше — это уже много. Так я поладила со своей совестью и взяла эти ветки.

— Девчоночья мораль! — рассмеялся Фрид.

— Спасибо тебе, Паульхен. Но не вступай в конфликт с законом. А то я уже начинаю бояться, что твое следующее письмо придет из тюрьмы.

— Не бойся, дядя Фриц. Если полицейский меня заметит, я умильно погляжу ему в глаза, протяну цветочек и скажу: «Этот цветок я сорвала для вас!» Он меня и отпустит.

— Или же тебя накажут еще строже — за попытку подкупа.

— Да что вы, у девушек свои законы. Их всегда отпускают.

— Согласно законам о несовершеннолетних и умственно отсталых, — съязвил Фрид.

— А злым мальчишкам надо всыпать розог — верно, дядя Фриц?

— Успокойтесь же! — попытался урезонить их Фриц.

— Эту противную привычку насмешничать он перенял у отвратительного Эрнста. Раньше он был совсем другой!

— Еще противнее?

— Нет, приятнее!

— Но быть «приятным» в глазах маленькой девочки вовсе не составляет цели моей жизни!

— Ты — неотесанный варвар!

— А ты — молодая дама.

— Да, я дама...

— К сожалению, в короткой юбке и с косичками.

— Дядя Фриц, помоги же мне! Вышвырни его отсюда!

— Но ведь он говорит чистую правду, Паульхен.

— Так ты еще и берешь его сторону?

— Нет, но ведь он делает тебе комплименты. Ты только вслушайся как следует. Молодая дама с косичками и пышной челкой — это же прелесть что такое!

— Так-то оно так... Но... — Паула в задумчивости сунула палец в рот. — Фрид, ты это хотел сказать?

— Конечно.

— Ну, тогда давай помиримся. Дядя Фриц, у меня будет новое платье. Мама сказала, что ты поможешь нам выбрать материю. Согласен?

— Безусловно. Тебе нравится васильковый цвет?

— Васильковое у меня уже есть.

— Тогда — белый шелк...

— О, белое...

— Ну, тогда тончайший батик на черном шелковом чехле — и совершенно

необычайный фасон. Рукава в виде крыльев бабочки и так далее. Я нарисую.

— О да, о да...

— *Vanitas vanitatum*⁷ — вздохнул Фрид. — Чем была бы женщина без платьев...

— А мы и так бываем без платьев — на пляже...

— Опять туда собираетесь, дети мои?

— Да, дядя Фриц, уже совсем тепло.

— Вот и прекрасно! Солнце делает чистыми и тело и душу.

— До свиданья, дядя Фриц.

— Побудьте со мной еще немного, детки.

— Нет, тебе же нужно работать. До свиданья... До свиданья...

И Паула, пританцовывая, выскочила за дверь.

— Наш местный смерч! — промолвил Фриц. — Нынче Общество красивых национальных традиций устраивает вечер старинных хороводов. Сходите туда.

— Хорошо! До свидания, Фриц.

Фрид широким шагом пустился вдогонку Пауле.

В комнате воцарилась тишина.

Солнце светило в маленькое окошко в крыше и рисовало на полу золотистые крендели. Фриц набил табаком трубку. Потом поставил на стол металлическую пепельницу тонкой чеканки, похожую на греческую чашу, раскурил трубку и стал глядеть сквозь голубые кольца дыма.

В тот прощальный вечер они с Лу пили пурпурное вино из этой мерцающей чаши, потому что у него не было бокалов, — да они в них и не нуждались, когда Лу по дороге в церковь на церемонию обручения еще раз забежала к нему, обняла его и зарыдала: «Я не могу... Не могу, любимый...»

Тут и у Фрица из глаз полились слезы, и он выдавил:

«Оставайся... Оставайся со мной...»

Тем не менее они расстались — пришлось расстаться.

В тот вечер, переполненные чувствами от этой прощальной встречи, они подняли золотистую чашу с искрящимся вином к звездам и прокричали им о своей любви и своей боли.

Фриц отложил трубку в сторону и пошел в мастерскую. Вытащив подрамник с холстом, он начал писать. Час проходил за часом — Фриц ничего не слышал, так погружен был в свою работу. Наконец сгустившиеся сумерки вынудили его отложить кисть. Он провел ладонью по лбу и оглядел сделанное. Потом с довольным видом отодвинул мольберт, насвистывая, взял трость и шляпу и вышел на вечернюю улицу.

Каштаны мирно покачивали кронами.

Спустя час Фриц вернулся. Он зажег лампу и принялся просматривать номера журнала «Красота».

За окном на землю медленно опускалась ночь.

Несколько чудесных фотографий обнаженного тела чрезвычайно приглянулись ему по вкусу.

Вдруг в дверь постучали.

Он решил, что это кто-нибудь из его юных друзей.

— Прощу.

На пороге выросла высокая элегантная дама, и чистый дрожащий голос сказал:

— Добрый вечер, господин Шрамм.

Фриц вскочил.

— Сударыня, как я рад...

— Я вам не помешаю?

⁷ Суэта суэт(лат.).

— Только в том случае, если сразу же захотите уйти.

— Значит, не мешаю. Вы мне столько рассказывали о своем Приюте Грез, что меня разобрало любопытство...

Она сбросила шелковый плащ на руки Фрица и огляделась. А Фриц залюбовался ею. Тонкий шелк мягкими складками ниспадал с ее высокой фигуры. Беломраморная шея гордо вздымалась из глубокого выреза платья, легко поддерживая красивую голову с копной темных волос. На шее поблескивала нитка матового жемчуга.

— Вы ничуть не преувеличили, господин Шрамм, эта комната и впрямь приют грез. Тут так уютно и покойно. Я не выношу бальных залов, залитых светом множества свечей. Так что здесь мне вдвойне приятно.

Фриц пододвинул госте кресло, и она небрежно опустилась в него.

— Нынче вечером я угощу вас чаем с английскими бисквитами. Только не возражайте! А потом — никаких конфет, зато — представьте себе! — вишни, уже сейчас, в мае. Один друг прислал мне сегодня утром посылку из Италии. Затем выкурим по сигарете. Согласны?

Она кивнула и с удовольствием следила за его приготовлениями.

— У вас здесь все дышит покоем, господин Шрамм. Нынче это большая редкость. Все гонятся за счастьем и золотом, что отнюдь не одно и то же. И тем не менее, в конечном счете, зачастую — одно и то же. Вы нашли свое счастье, господин Шрамм?

— Я не знаю, что такое счастье, особенно если иметь в виду расхожее обывательское понятие: истинное счастье — в довольстве. Это, конечно, верно — но только в среднем. Для нас, людей с чувствительной нервной системой, с особым душевным складом, я бы сказал так: истинное счастье — это мир в душе! Это почти то же самое и все же совсем другое. Довольство может быть просто так, само собой, без борьбы, без особых усилий. И даже большей частью так оно и есть. Мир в душе обретаешь только после борьбы, после жестоких боев и блужданий. Ясное понимание своего «я»...

— Оно есть у вас, господин Шрамм?

— Я сейчас скажу, сударыня, хотя мир в моей душе отнюдь не золотой. Скорее, смутно-фиолетовый, меланхоличный... Но все-таки мир.

— Когда его обретаешь?

— Когда находишь путь к себе.

— Это трудно?

— Это — самое трудное!

Женщина кивнула.

— И требуется еще одно: оставаться верным самому себе.

— Но это невозможно, господин Шрамм.

— Возможно, если владеешь своей душой.

— Тогда нужно стать отшельником. А разве это достижимо, когда живешь среди людей?

— Не просто достижимо, а так оно и есть. Если у тебя своя интонация, своя песня, свой тон — ты и есть такой человек.

— Но в обществе подобных людей не найдешь. Там есть остроумные, утонченные, хорошо воспитанные, но Человека с большой буквы там нет.

— Неужели в самом деле все так плохо? Может быть, нужно приложить немного усилий? Правда, такие люди не всегда самые интересные и выдающиеся...

Женщина задумчиво взглянула на него.

— Вы совсем не такой, господин Шрамм.

— С каких это пор дамы стали говорить комплименты мужчинам?

— Это не комплимент. В ранней юности я мечтала о таком друге, как вы. Вероятно, тогда многое вышло бы по-другому.

— Я люблю — и этим все сказано.

— Любите?

— Правда, не в общепринятом смысле. Я люблю все: природу, людей, деревья, облака,

страдания, смерть. Одним словом — жизнь! Я — оптимист и экстремист любви.

— У вас было мало разочарований...

— Очень много!

— И тем не менее?

— И тем не менее!

— Странно...

Лампа начала потрескивать. Фриц взял серебряное блюдо с вишнями и поставил его перед дамой.

— Нынче вечером вы не играете, сударыня?

— Завтра начну. Видите ли, именно поэтому я и подумала о вас и решила вас навестить...

Женщина вынула из сумочки программку и протянула Фрицу. Он прочел вполголоса: «Богема» — опера Россини. Мими — Ланна Райнер».

— Да, я должна петь партию бедной маленькой Мими. На генеральной репетиции сегодня я очень живо вспоминала вас и ваш Приют Грез. Наши актеры нынче — уже совсем не богема. Они хорошо воспитаны, очень корректны, весьма добропорядочны, а у вас я все еще ощущаю некоторый налет эдакого...

— Вы играете завтра в «Богеме», — мечтательно протянул Фриц. — Я долго не мог слушать эту вещь, потому что она меня слишком брала за живое. Там изображена очень сходная судьба. — Он кивнул на красивый портрет на стене. — Но завтра я обязательно пойду.

— Я очень рада. Может быть, вы потом скажете мне свое мнение?

— Когда это можно будет сделать?

— В тот же вечер.

— Но вы же наверняка приглашены?

— Да, это правда — даже всей мужской частью местных сливок общества.

— Значит...

— Вовсе нет! Эти пошляки мне отвратительны. Я хочу наконец беседовать с настоящими людьми. А говорить комплименты всякий мастер. Цель всегда крайне эгоистична и насквозь видна. Терпеть их не могу! — Она встала. — Значит, около десяти у малого входа.

Фриц поцеловал ей руку.

— Благодарю вас за это.

Она странно взглянула на него.

Потом ушла. Фриц светил ей, пока она спускалась по лестнице. Лампа отбрасывала диковинные пятна света и тени на ступени и перила. Еще час Фриц посидел при лампе. Он больше не читал, просто размышлял о странностях человеческого бытия. Его даже дрожь пробрала, когда он подумал, насколько все случайно и призрачно в жизни. Капелька тумана, дуновение вечернего ветерка — они не ведают, откуда берутся и куда деваются... Так и человеческая жизнь — лишь смутный сон перед рассветом...

Свет лампы покойно лежал на красивом портрете.

И лицо на нем улыбалось.

IV

Весеннее солнце ослепительно сияло над привокзальным бульваром. Ласточки щебетали, строя свои гнезда в просторном портале, несмотря на шум и суету вокруг.

Элизабет медленно пересекала площадь перед вокзалом, когда прибыл поезд и толпа людей выплеснулась на площадь. Элизабет невольно остановилась. И вдруг почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Пара дерзких серо-голубых глаз на загорелом лице и впрямь упорно глядели в ее сторону. Она смущенно потупилась. Потом посмотрела вслед удаляющейся стройной фигуре в сером дорожном костюме. Лицо показалось ей знакомым.

Но, как ни старалась, она не могла вспомнить, кто это был.

Фриц сидел в своей мансарде и подбирал краски. Вдруг вверх по лестнице взлетели шаги, дверь распахнулась, и громовой голос воскликнул: «Фриц! Старина Фриц!» — а крепкие руки схватили его в объятия.

— Эрнст, мальчик, неужто это ты собственной персоной? Откуда ты взялся неожиданно-негаданно?

— Просто взял и удрал. Покончил с этим училищем для старых дев на восемь дней раньше. Фриц, дружище, на дворе весна, разве можно в такое время зубрить контрапункт и фугу? Я больше не мог — и вот я тут. Где же девушки этого города? Немедленно их всех сюда! Мне нужны целые полчища особ женского пола!

— Спокойно, спокойно, мой мальчик. В маленьком городке жизнь течет тихо. А у тебя бешеный темп. Может, тебе стоит сперва освежиться и выпить чашечку кофе?

— Идет! Ты прав! Нужное и практичное вечно вылетает у меня из головы. Итак, вторгаюсь в твою святая святых и потоками радоновых вод провинциального городка начисто вымываю из головы грешные мысли большого города. А потом — чаю, Фриц! Только настоящего, крепкого, какой бывает только в твоём Приюте Грез! Идет?

Уже через секунду он плескался и фыркал за стеной, пока Фриц накрывал к чаю.

— Ну, Эрнст, а теперь давай рассказывать.

— Чего там рассказывать! Это дело для старых баб! Займусь им, когда состарюсь, поседею и дряхлым беззубым старцем засяду за мемуары. Но чтобы теперь? Я здесь! И этим все сказано!

Фриц добродушно улыбнулся:

— Еще успеешь наговориться.

— А вот ты, Фриц, давай выкладывай. Как у тебя дела? Как твои картины? Все закончил? Доволен?

— Я обрел модель для моей большой картины и вместе с тем новую молодую и прелестную приятельницу.

— Она хороша собой?

— В высшей степени.

Эрнст радостно присвистнул.

— И чиста как ангел, Эрнст!

— Чиста? Чиста... — он посерьезнел. — Это много. Или даже все... Ты ее любишь, Фриц?

— Как тебя, Эрнст.

— В таком случае — пусть она будет мне сестрой.

— Так я и знал, Эрнст. Спасибо.

— Ну, это же само собой разумеется, Фриц.

— Сколько времени ты здесь пробудешь?

— О, сколько вздумается. До смерти надоело жать на педаль. Хочу в Лейпциг — там мне дадут последнюю шлифовку. А как дела у Фрида? Он сейчас здесь, да?

— Да, вот уже несколько недель. Он закончил курс в Дюссельдорфе и теперь трудится тут. Получил заказ на две крупные картины, а кроме того, рисует узоры для фабрики обоев. Между делом продает также экслибрисы, монотипии, а чаще — рисунки пером и силуэты из черной бумаги, оформляет книги, — в общем, дела у него идут неплохо.

— Рад слышать. А что у Паульхен?

— Как всегда непоседлива и любит перечить, торопится стать взрослой и действительно скоро станет.

— Пойдешь со мной на вокзал, Фриц? Хочу забрать чемоданы.

Они не спеша двинулись к вокзалу, оживленно беседуя. Внезапно на них налетел щебечущий и пахнувший духами ураган: Паульхен!

— Эрнст! Ты ли это или твой дух?

— И то и другое, Паульхен. Ибо мужчина всегда держит свой дух при себе, в то время

как у молоденькой девицы весь ее дух в без-дух-овности.

— Вот это да! — охнул Фриц.

— Дядя Фриц, видишь, он опять задирается! Фу, Эрнст!

— Куда ты направляешься в этом восхитительном розовом облаке газа, Паульхен?

— На гулянье, дорогой дядя Фриц.

— На гулянье? — переспросили оба разом. — А что это?

— Ну, на променад, если тебе так будет понятнее, господин Эрнст, на главной улице гулянье с половины шестого до половины седьмого.

— Ах, вот оно что, понял, — заметил Эрнст, — раньше мы называли это Гусиный луг.

— Помолчи, противный. До свиданья, дядя Фриц. — Паула убежала, но тотчас вернулась: — До свиданья, Эрнст.

— Так-то оно лучше. Желаю повеселиться, Паульхен.

Они пошли дальше. На вокзале Эрнст вручил служителю квитанции и адрес. И тут же предложил отправиться в кафе.

— В какое? — уныло спросил Фриц.

— В «Виттенкинд». Вперед, старина, не скидай. Нужно же мне повидаться с вашими девочками.

— А у вас там их, что ли, не было?

— О господи, какие это девочки! Они все сплошь «образованные»: либо уже пооканчивали университеты, либо еще учатся. Внешние признаки последних: стоптанные каблуки, пенсне в черной оправе, обтрепанные подолы. Или же: зализанные волосы, мужская рубашка со стоячим воротничком и длинными рукавами. Хуже всех студентки музыкальных училищ. Особая категория — дочки художников. Платья с большим декольте при наличии гусиной шеи и угловатых плеч, а также отсутствии бюста. Не придают внешности никакого значения! Во-вторых, они тоже «образованные». Новый сорт. Пьют только чай, малюют альпийские ландшафты, играют на рояле «Тоску по родине», «Молитву девы» и «Любовную жалобу», читают «А любовь никогда не кончается», «Разбитые сердца» и так далее. Однажды я показал двум-трем из них несколько номеров журнала «Красота». О Боже, какой был взрыв! Таков этот народец! О солнце, свежем воздухе и красоте они и ведать не ведают, эти бесполое книжные черви! Фриц, «образованная» женщина — это чудовище. У нас есть все мыслимые законы, но нет такого, который обязывал бы, чтобы всех девиц, со скуки ударяющихся в политику или сочинительство, немедленно отдавали замуж. После этих эстетствующих бесцветных рож человека неодолимо тянет к простым, сердечным, милым девушкам, которые целуют и любят, как велит мать-природа. Вывод: в добрый час!

В кафе было довольно много посетителей, так что им пришлось поискать место. За одним из столиков в центре зала сидела очень элегантная молодая дама. Эрнст поклонился ей с легкой иронией. Она подняла глаза и спросила не очень уверенно:

— Господин Винтер?

Эрнст с улыбкой протянул даме руку.

— Добрый день, фройляйн Берген. Я ищу два свободных места и вдруг вижу их за вашим столиком.

— Прошу вас, пожалуйста.

Эрнст представил Фрица, и оба уселись. Эрнст взглянул на Трикс Берген.

Та залилась краской и сказала:

— Я давно вас не видела, господин Винтер.

— Меня здесь не было. Я только сегодня приехал.

— А я — три дня назад. Где же вы были?

— В Берлине.

— Ах, Берлин! Такой прекрасный город! Множество развлечений и шумных празднеств.

— И густонаселенные дома-казармы, — ехидно ввернул Эрнст.

— А на них смотреть вовсе не обязательно. Жизнь свою нужно обставить как можно

приятнее.

— А что потом? — спросил Фриц.

— Ах, потом меня не волнует. Ведь сегодня еще сегодня! Я пока молода и красива. — Она начала подпевать мелодию оркестра и поводить плечами. — Мне так хочется потанцевать. Но в этих отвратительных городишках ничего такого нет. То ли дело Берлин — там везде есть танцплощадки. Бостон, фокстрот, матчиш, капельмейстер входит в раж — и тут начинается. Но здесь... — Трикс прищелкнула пальцами.

— Я скоро уеду снова.

— Опять в Берлин?

— Конечно! Там всегда много всего...

— Для счастья вовсе не обязательно жить в большом городе, — заметил Фриц.

— Счастье можно найти и в медвежьем углу, тут вы правы.

— Само понятие о счастье бывает разным, — вставил Эрнст. — У меня есть прелестная знакомая, которая пишет мне, что совершенно счастлива: у нее родился ребенок.

Трикс звонко рассмеялась:

— Не повезло ей!

Эрнст спокойно посмотрел на нее:

— Она замужем и давно хотела ребенка.

— Каждому свое. А я против этого удовольствия, я хочу жить!

— Жить можно по-разному — внутри себя и вовне, — ответил Фриц. — Вопрос лишь в том, какая жизнь ценнее. Шампанское, туалеты, кавалеры, празднества — мне кажется, со временем все это тоже надоедает и наводит тоску. А чем кончается песня? Что остается в старости? Другая жизнь кажется мне, напротив, возвышеннее. Для женщины, высший смысл которой состоит в ее женственности, материнство — прекраснейшая доля! Подумайте только, как это замечательно: продолжать жить в детях и таким образом обрести бессмертие.

Вспыхнув, Трикс перебила его:

— Кто вы такой? И что вам от меня нужно?

А Фриц продолжал как ни в чем не бывало:

— Женщина, не ставшая матерью, упустила самое прекрасное, да, самое прекрасное, что было ей написано на роду. Какое разливанное море счастья для матери заключено в первых годах ее ребенка, от первого неразборчивого лепета до первого робкого шага. И во всем она узнает себя самое, видит себя молодой и воскресающей в своих детях. Женщина может натворить в своей жизни Бог знает что. Но одно-единственное слово все перечеркивает: она была матерью. Вероятно, вы знаете это еще от вашей матушки.

Трикс уставилась на него невидящими глазами. Потом резко вскочила и вышла из зала.

Эрнст заговорщически улыбнулся. Вскоре вышел и он.

Вернувшись, Эрнст не мог скрыть волнения.

— Она стояла в гардеробе и сотрясалась от рыданий, — рассказал он. — Я мягко поговорил с ней и дал твой адрес. Она все время спрашивала: «Кто этот человек? Что это со мной?» Наверное, она вскоре к тебе заявится.

— А я намеренно все это сказал, — заявил Фриц. — Я раскопал глубоко зарытое и заставил звучать забытые струны. Они еще долго будут звенеть в ее душе, образуя диссонанс с другими струнами, вибрации которых доныне заполняли жизнь. Вопрос только в том, какие окажутся сильнее.

Эрнст кивнул:

— Трикс — милая девушка. Кровь у нее была горячая, а характер легкомысленный. Об остальном легко догадаться. Она живет на чьем-то содержании. Сдается мне, Фриц, что число твоих подопечных увеличивается на единицу.

— Чем больше, тем лучше.

Они поговорили еще с полчаса и ушли.

На улицы городка спустился весенний вечер. Позеленевшая от времени башня старинного собора возвышалась над людской суетой недвижимым символом вечности. Под

мостом глухо урчала река. О чем? О людях. В скверах цвела весна.

Эрнст оборачивался и смотрел вслед каждой проходившей мимо девушке.

— Они так держатся, будто на голове у каждой — по невидимой короне. Это делает с ними весна.

— Тут одновременно и гордыня и смирение. Они чувствуют, как в них пробуждается женственность. А это означает: отдавать и служить.

— Знаешь, Фриц, женщины все же намного лучше нас.

— Как это тебе вдруг пришло в голову?

— Сам не знаю. Любовь — ясное тому доказательство. У мужчины она в большей степени возжелание, у женщины — жертвенность. У мужчины примешано много тщеславия, у женщины — потребности в защите. Я имею в виду женщину, не самку.

Фриц улыбнулся.

— В юности я утверждал, что мужчина вообще не способен любить. Но потом сам же это опроверг. Нужно подняться от чисто физической плотской любви к любви духовной. Многие называют любовью обычное томление чувств. А любовь — чувство в первую очередь душевно-духовное. Из-за этого ей вовсе не надо быть платонической, блеклой и бесплотной. Но физическое созвучие должно быть лишь усилением или выражением душевного единения. Любовь — это упоение. Но не упоение плоти, а упоение душ. Я не ханжа. Но чисто плотскую любовь презираю. Высшая степень душевно-духовного единения, выражающаяся и физически, — вот что такое любовь. Возьмем, к примеру, Паульхен. Для нее любовь — это тайна за семью печатями. Но кокетничать она худо-бедно умеет. А вон и Фрид появился.

Фрид радостно подошел к ним и сердечно поздоровался с Эрнстом.

— Ну, Фрид, — заговорил тот, — с каких это пор ты торчишь здесь на променаде — выставке для школьников и девочек-подростков?

— Но ведь это такое великолепное зрелище — яркие сочные весенние краски, пестрые платья девочек, — в них персонифицируется сам месяц май. Это многообразие красок и форм, эти передвижения, сливающиеся в великой гармонии, — май объединяет все это в моей душе, я словно бы испытываю нежную ласку после трудного дня.

— Ловко выкрутился, — расхохотался Эрнст. — Мне плевать на нежную ласку. Мне больше нравится буря. Но не таится ли за твоим безличным желанием ласки со стороны зрелища куда более личностное желание — заменить зрелище на еще более нежную девичью ручку? Ведь людям свойственно искать для своих общих склонностей какое-то более частное воплощение. И воплощение твоего весеннего настроения, именуемого «май», предполагает «девиц», точно так же, как доминантсептаккорд непременно разрешается в фа мажор. В противном случае получается ложный вывод. Девы не отделяются от мая! Или же ты специализируешься по ложным выводам?

— В детстве я любил играть на губной гармонике. Поэтому я склонен к гармонии и гармоничным воплощениям.

— Значит...

— Впрочем, мне пора... — Он залился краской и посмотрел искоса на противоположную сторону улицы, откуда некая кокетливая девчушка бросала на него такие взгляды, что вполне могли и обжечь.

— Ну, Фрид, — сказал Фриц, заметивший этот маневр, — тогда переходи на фа мажор...

Фрид рассмеялся, пожал им руки и демонстративно взял след кокетливой девчушки с косичками.

— Послушай, Фриц, я кажусь самому себе Мафусаилом: почему это я вышагиваю тут, так сказать, в одиночестве?

— О, черт меня побери, кто это?

Фриц поздоровался.

— Прима летней оперы.

— Элегантна!

— Неудовлетворена.

— Чем?

— Людьми и жизнью.

— В ней чувствуется порода.

— Мать у нее была русская.

— А, вот откуда ветер дует. Однако скажи-ка мне, старый греховодник, откуда ты ее знаешь?

— Мы познакомились случайно. Я писал башню собора у Заячьих ворот и целиком углубился в работу. Вдруг я почувствовал, что за мной наблюдают, какие-то странные флюиды коснулись меня. Я оглянулся и уперся взглядом в два больших черных глаза. Они улыбнулись — как-то так странно — не смогу тебе описать этот взгляд. Она хотела купить картину прямо с мольберта. Я вынужден был отказать, поскольку картина была заказана, зато пригласил ее на выставку на Мезерштрассе, где висело несколько моих картин.

— Ах, вот оно что... Однако, Фриц, нечто такое в женском роде мне хотелось бы встретить нынче вечером, хотя бы ради того, чтобы просто поболтать.

— Сегодня вечером ко мне придет моя молодая приятельница Элизабет, так что сможешь сразу с ней познакомиться. А теперь идем — разопьем в честь твоего приезда бутылочку вина, запылившуюся от времени.

— Давай, и одной нам, пожалуй, не хватит. — Сразу повеселевший Эрнст продел свою руку под локоть Фрица, и они быстрее зашагали к дому.

— Так, мой мальчик, — заговорил Фриц, едва они вошли в комнату, — что будешь курить — трубку, сигары или сигареты? Выбирай сам. Я предпочитаю свою любимую трубку.

— Тогда я выбираю сигарету. Это выглядит как-то более стильно.

— С каких это пор ты обращаешь внимание на стиль?

— В сущности, всегда обращал. А теперь стараюсь освоить наиболее эксклюзивные формы.

— Быть того не может! В последний раз ты относился к этим вещам с достаточно злобным презрением.

— Вслед за Ницше я сказал себе: «Только тот, кто меняется, для меня остается родным». Я перепрыгиваю с одной ступени развития на следующую. Другие люди шагают прямо вперед. Я же перемещаюсь кругами. И внезапно оказываюсь в другом круге — в другом кольце. Я двигаюсь толчками и прыжками. Но хватит об этом. Твой Приют Грез опять приводит меня в восхищение. И ты по-прежнему страстный любитель цветов.

— Так было всегда. Гол как сокол, но считал, что лучше поголодаю, чем откажусь от цветов. Часто на последние гроши вместо хлеба покупал несколько цветочков. Даже в одной любовной интрижке виноваты были цветы. То была интрижка по расчету. В цветочной лавке я как-то раз заметил смазливую девушку-продавщицу. В самом факте встречи не было ничего особенного, но суть в том, что деньги у меня кончились, а дело-то происходило в цветочной лавке! Я купил на последнюю марку розы, три розы на длинных стеблях, попросил завернуть, пошел к выходу, потом вернулся, вытащил одну розу и преподнес ее вконец смущенной малышке. И тут же ушел, чтобы не портить впечатления. Видишь, в ту пору я тоже ценил стиль. На следующий вечер я случайно встретил ту малышку. К своему стыду должен признаться, что меня больше привлекали цветы, чем прилагавшаяся к ним девушка. Это была единственная в моей жизни любовь по расчету. Впрочем, вскоре я по-настоящему влюбился и в саму крошку. В моей мансарде, несмотря на безденежье, устраивались настоящие цветочные оргии... Маленькая Маргит давно замужем за порядочным человеком, но, может быть, иногда она и вспоминает Фрица, который так любил ее цветы... А сейчас мне нужно на минутку спуститься вниз. Столяр отыскал где-то прекрасный старинный ларь и просил сегодня вечером сообщить, хочу ли я его купить. А я чуть было не забыл. Всего минута, и я тут же вернусь.

Эрнст медленно докурил сигарету до конца, задумчиво следя за голубыми кольцами дыма.

В дверь постучали. Еще погруженный в свои мысли, он крикнул:

— Входите.

Вошла Элизабет:

— Добрый вечер, дядя Фриц...

Эрнст вскочил при первых звуках мелодичного голоса.

— Ах, — смеясь, воскликнул он, — моя прекрасная незнакомка с вокзала. Какая встреча! Дяди Фрица сейчас нет. Не хотите ли покуда удовольствоваться мною? Меня зовут Эрнст Винтер, а вы — фройляйн Хайндорф, не так ли?

— Да.

Элизабет ужасно смутилась. Значит, это был тот самый Эрнст Винтер, о котором так много рассказывал дядя Фриц. На миг она закрыла глаза — сама не зная почему. В ней поднялась и тут же опустилась какая-то темная волна. Но легкое чувство тревоги осталось.

— Ну входите же, вы приносите нам весну, а весне нельзя не радоваться. Садитесь вот в это кресло. К сожалению, у нас нет выбора: тот стул по традиции принадлежит Фрицу. Это помпезное кресло — оно всего лишь чемодан, которому тяжелый шелк, столь живописно обтягивающий его, придает некое сходство с княжеским тронem, — мое постоянное место. Наши гости раньше сидели на ящике для угля. Видите, это простой дощатый ящик, который Фриц обил элегантной тканью, а сверху подложил еще и мягкую прокладку. Если заглянете внутрь, то сможете заметить там черные алмазы. С ростом благосостояния мы, правда, ничего не изменили в фундаментальных основах Приюта Грез — это было бы нарушением наших принципов, — однако приобрели кое-что новое для наших гостей, — например, вот это плетеное кресло. Здесь все имеет свое значение и свое право, в том числе и каждая картина на стене, которых тут множество. Самое новое у нас — Окно Сказок, ему всего год. Видите это слуховое окно? Сквозь него вечером светят звезды. Какая поэзия заключена в этом окошке! Какая бездна задушевности таится в нем! Это слуховое окно мы называем Окном Сказок. На стене вокруг нарисовано голубое небо, а на нем золотые звезды и красные сердца. На каждом сердце написано имя, и каждое имя — напоминание о ком-то дорогом и любимом. Вот тут, с краю, поближе к луне, вы видите бледное сердце в венке из красных роз. Можете прочесть и имя: Лу. — Эрнст указал на портрет в Бетховенском углу: — Это ее портрет. Фриц ее очень любил.

— Он мне об этом рассказал, — очень тихо откликнулась Элизабет.

— Значит, он проникся к вам большим доверием. Он вам все рассказал?

— Все.

— Это говорит о многом. Доныне он рассказал все одному лишь мне. Другие знают только то, что Фриц ее очень любил и что она умерла. Много можно узнать из его стихотворений той поры. Прочитать вам?

Элизабет кивнула.

Моя весна, в тебе вся жизнь,
Ты — счастье в доле человека.
Ты — та звезда, что светит близ
Меня, пока не смежу веки.
Мое ты небо, мой покой,
Мой рай земной навеки.
И будет мир в душе моей,
Коль ты прикроешь веки.

— В свой счастливый час я сочинил музыку на это стихотворение, — добавил Эрнст.

— Вы не дадите мне ноты как-нибудь потом?

— С удовольствием. У Фрица есть рукопись. Я ему скажу. А вот и он сам.

Фриц вошел в комнату.

— Добрый вечер, милая Элизабет. Ну, дети мои, вы уже немного познакомились?

— Хотел бы надеяться, — сказал Эрнст и улыбнулся.

— Весной люди знакомятся намного легче, чем в другое время года, — заметила Элизабет. — Весной все как-то задушевнее, ближе. Не так ли, дядя Фриц?

— Именно так, дитя мое. Причем по весне жизни — в еще большей степени, чем по ее осени. Ну вот. Для Элизабет у меня есть вишни, а для Эрнста — египетские папирусы. Устраивайтесь поудобнее.

Элизабет уютнее уселась в кресло и стала лакомиться вишнями.

— Ну же, Элизабет, какое прекрасное событие случилось у тебя сегодня? Нужно, чтобы каждый день, будь он даже серым и пасмурным, случалось что-нибудь прекрасное. Вечером я часто спрашиваю себя: что прекрасного было у тебя сегодня? И должен заметить: каким бы тягостным ни был день, все же маленький солнечный зайчик всегда показывается. Так что давайте начну с себя. Сегодняшний день принес мне большую радость: приехал мой Эрнст!

— Мой дорогой, мой хороший... — растроганно откликнулся Эрнст и пожал ему руку.

— Теперь твоя очередь, Элизабет.

— Было кое-что. Но самое прекрасное случилось нынче вечером на городском валу у Господского пруда. Я уже собиралась идти к тебе. Вечернее солнце сказочно мерцало сквозь кроны старых лип. Все кругом словно замерло. В реке отражался начинающийся закат, и легкий ветерок ласково тронул ветви деревьев. Было так красиво, что я едва удержалась от слез. О, и еще кое-что случилось! У самого конца вала я остановилась, чтобы бросить взгляд на весеннюю нежную зелень. Тут прямо передо мной на ветке уселась прелестная маленькая птичка, поглядела на меня черными бусинками глаз, покрутила головкой во все стороны и защебетала. Да, и еще кое-что! Навстречу мне попала пожилая женщина с изможденным морщинистым лицом, которая вела за руку бледного малыша. Тот нес в кулачке несколько цветов. Вдруг он воскликнул: «Смотри, мамочка, какие красивые цветы!» — и протянул их матери. И женщина, озаренная багрянцем заката, улыбнулась... Улыбнулась! Ах, дядя Фриц, что это была за улыбка! О, теперь я больше узнала о жизни... Намного больше. Мир все же прекрасен!

Элизабет даже молитвенно сложила руки перед грудью.

Эрнст был просто околдован. Ему казалось, что в комнату к ним явился эльф или лесная фея — настолько эта девушка была сродни природе. Словно большой ребенок, совершенно не тронутый сомнениями и тяжкими мыслями о причинности и необходимости. Идеально чистое создание, всей душой ощущающее природу, — доброта мира, воплощенная в одном человеке.

— А теперь ты, Эрнст, — сказал Фриц.

— Я ехал по железной дороге. Поезд был переполнен. Поэтому несколько пассажиров, купивших билеты второго класса, набились в наше купе. Но все места были заняты и тут, поэтому им пришлось стоять. Их было четверо, в том числе две девушки. Мне подумалось, что они — странствующие актеры варьете. Та девушка, что помоложе, была в самом расцвете юности и красоты, но черты лица ее уже немного расплылись. Она не разговаривала с остальными. Те тоже держались особняком, но было видно, что они очень за нее тревожились. Эти люди вообще по-товарищески относятся друг к другу. Девушка казалась очень усталой. На ее лице лежала печать какой-то странной задумчивости, придававшей всему ее облику впечатление душевной чистоты. Дама, сидевшая рядом со мной, везла с собой болонку, которую посадила на одно из мест. Она даже подхватила руками свои юбки, чтобы они не касались этих людей. Девушка помоложе заметила этот жест, и в уголках ее рта появилась горькая складка. Она казалась обиженной судьбой. Меня все это задело за живое. Я готов был отдать что угодно, лишь бы горькие складки у ее рта разгладились. Я встал и сказал: «Фройляйн, разрешите предложить вам мое место?» Она растерянно взглянула на меня. Две пассажирки в нашем купе — веснушчатые дуры — захихикали.

Хотел бы я, чтоб им перепала хотя бы сотая доля той прелести, какой дышало лицо девушки. Уже начиная сердиться, я сказал: «Разрешите повторить мою просьбу?» Девушка едва слышно пролепетала «спасибо» и села. Я взял из ее рук сумку и положил в багажную сетку, причем шелестящая шелковыми юбками собачница выказала такой страх перед возможным соприкосновением с сумкой, что я вышел из себя и заявил: «Сударыня, надеюсь вы позволите занять это место?» — указав рукой туда, где сидела болонка. Собачница бросила на меня гневный взгляд, но ничего не ответила. Я спокойно продолжил: «По правилам, собакам не положено занимать места в обычном купе, их следует помещать в купе для собак, что вам подтвердит проводник». Тот как раз вошел в наше купе и признал мою правоту. Дама демонстративно взяла свою любимицу на колени. Я же не сел, а предложил освободившееся место второй девушке. Продолжая стоять, я наслаждался, глядя, как эту ведьму, оказавшуюся меж двух девиц и брезгливо отряхивавшую свои юбки, распирает от злости, один из двух мужчин, спутников девушек, заговорил со мной и предложил сигару, — вероятно, для того, чтобы выразить свою признательность. Мне очень хотелось отказаться, но я не посмел, чтобы не показаться высокомерным. Я курил эту сигару, хотя мне от нее едва не стало дурно. Потом я протянул ему одну из моих гаванских сигар, подаренных мне приятелем-студентом. Этот студент был хороший парень. Он учился в Лейпцигской консерватории и рассказал мне о ней столько интересного, что я захотел тоже поехать туда учиться. На следующей станции вся компания вышла. И милая барышня, уходя, подарила мне такой взгляд... такой взгляд... Словно лиловый шелк. Это было прекрасно...

Воцарилась тишина. Сумерки заполнили мансарду голубоватым светом, тени сгустились.

— Дядя Фриц, — тихо проронила Элизабет, — стало темно...

Фриц зажег свечи рядом с портретом на стене и поставил перед ним розы.

Мерцающие, дрожащие отсветы пламени свечей упали на портрет, так что казалось, будто он ожил: красивые глаза засветились и розовые губы улыбнулись.

Фриц взял в руки тоненькую папку с рукописями и прочитал:

О, час наш вечерний — только с тобой!
Час нашей встречи тайной.
Сойди же на землю, ангел мой,
И дай мне покой душевный.
Улицы в сумраке, воды тихи,
Страсти желаний угасли.
Те, что родились, тихо ушли
В розах покоя и счастья.
О, час наш вечерний — только с тобой!
Полная светит луна.
Лучший наш час, когда тихо звенит
Вечного счастья струна.

— «Вечного счастья струна», — мечтательно повторил Эрнст. — Да, это так — утраченная мелодия, реющая где-то над жизнью, нечто неуловимое, сотканное из надежды на исполнение желаний, рыдающего блаженства и загадок. Часто это нечто кажется забытой песней детских лет, часто — далеким звоном будущего, часто оно звучит загадочно близко, когда поднимаешь дикие безбожные глаза к далеким горизонтам и устремляешься душой в новые страны, а часто доносится, как аромат сирени в тревожной ночи. Это нечто — и холодный снег на глетчерах, и сверкание снежных вершин над горячечным челом, и звездное серебро в раскаленных кратерах воли и тоски. У него нет имени, это и чаши весов, и вечное стремление их уравнивать — Великое Оно, которое сильнее всего склоняет нас к душевному миру.

Глаза Элизабет мечтательно светились.

— Великое Оно, — повторила она, и ее голос выдал, насколько Элизабет потрясена услышанным.

— Раньше я говорил Великое Ты, — задумчиво произнес Фриц. — Но это не совсем верно. В нем заключено нечто большее. В нем есть мир и спасение от неразрешимых загадок жизни. Я говорю «спасение», а не «решение», ибо решения нет. Зато есть спасение! Когда над сверлящими и стучащими в голове мыслями разливается приятный покой и мир нисходит на душу, — вот что такое Великое Оно, о котором никто не знает, что это, почему и как... Оно означает все. Без слов и образов. Глубокий покой чувств.

— Храм грез, — вставил Эрнст.

— Оно, — прошептала Элизабет.

Вдалеке пробили башенные часы. Элизабет вздрогнула и поднялась с кресла.

— Мне хотелось бы навсегда остаться здесь, дядя Фриц, но надо идти...

Эрнст пошел ее проводить по гулким улицам. Он взял ее руку в свою. Рука Элизабет слегка дрожала. Так они шли сквозь майскую ночь почти молча. У решетчатых ворот Элизабет остановилась.

— Здесь я живу... Спокойной ночи...

Эрнст почтительно склонился над ее рукой, подождал, пока легкая фигурка Элизабет не скрылась за массивной дверью. Потом быстро повернулся и зашагал обратно.

V

Из Приюта Грез Фрица Шрамма в девичьи спальни Элизабет к Паульхен прилетели цветные записки. Фриц и Эрнст дружески приглашали девушек на ранние посиделки.

Первые сумерки спустились с тускнеющего неба, словно легкая пелена дождика. Приют Грез имел праздничный вид. Множество душистых цветов красовалось в самых разных местах. Две темно-красные свечи горели перед красивым портретом, и казалось, будто глаза на портрете светятся розовые губы улыбаются.

На Элизабет было белое платье с вышивкой и узенький золотой обруч на лбу.

«Она похожа на очаровательную королеву», — подумал Эрнст, взяв чайник. На нем была одна из светлых курток Фрица. Чайник приятно посапывал. Фриц накрыл стол, уставленный цветами. Эрнсту нравилось играть роль экскурсовода и зазывалы. Он пел соловьем:

— Поначалу подается чай — наш чай, какой может быть приготовлен только в Приюте Грез. Кто интересуется деликатесами — а тут у нас есть омары, сардины, зернистая икра и так далее, — имеют возможность всем этим полюбоваться. Мы же, два старика, — или, по крайней мере, я — «преданно и неколебимо», как говорится при освящении знамени в стрелковых союзах, останемся верными национальному блюду Приюта Грез, которое было нашей едва ли не ежедневной едой, когда мир еще не успел в достаточной мере оценить гениальность обитателей этого уголка, в особенности Фрица. Блюдо это готовится следующим образом: берется ломоть черного хлеба и намазывается толстым слоем масла. Должен заметить, что добавление крутого яйца, введенное в обиход потому, что оно значительно улучшает вкусовые качества, — более позднее усовершенствование, вызванное возросшей состоятельностью здешних обитателей. Итак, намазывается маслом, а сверху капается великолепная жидкость — сок свекловичной ботвы, в иных краях ошибочно именуемая свекловичным сиропом. Технически это выглядит так: я опускаю ложку в клейкую черную жидкость, верчу ее с бешеной скоростью вокруг оси, рывком вытаскиваю из черной массы, подношу к хлебу и даю жидкости капать на ломоть, выписывая ложкой красивые плавные спирали. Высшим достижением в этой игре считается написание имени любимой путем искусного маневрирования ложкой. Затем лезвие ножа размазывает рисунок и приводит витиеватые завитки линий к скучному однообразию стандарта обычного бутерброда. Сверху накладываются свеженарезанные ломтики яблок. Само поглощение бутерброда тоже восхитительно. Необходимо все время следить, чтобы черная тягучая

жидкость не потекла с какого-нибудь края. Таким образом, одновременно мы поглощены интересным занятием, ибо вынуждены постоянно держать ломоть в горизонтальном положении, и эффективно упражняемся, обретая терпение, надежду, душевное равновесие и прочие аналогичные душевные свойства. Я еще напишу статью о воспитательном значении свекловичной ботвы.

— Прекрати! — задыхаясь от смеха, выдавила Паульхен. — Тут слишком жарко, у Эрнста тепловой удар...

Но Эрнст не давал сбить себя с курса.

— Теперь речь пойдет о чудесных синих и коричневых чашках и кувшинчиках Фрица: каждая вещь — поэма. Рассказывают, что он даже в период крайней нужды не мог решиться на их продажу. Так что пейте с почтением. Впрочем, майский бог свидетель, из-за Паульхен я тоже ощутил голод, так что, дети мои, — приступайте.

И все с радостью набросились на еду.

Мало-помалу стемнело.

Фриц вышел из комнаты и вернулся. Потом распахнул дверь:

— Давайте перейдем в мастерскую.

— Дядя Фриц, как все чудесно, просто чудесно...

В мастерской царил полумрак. Легкие голубые занавеси мягкими складками обрамляли окна. В середине стоял темный рояль, в отливающих золотом подсвечниках горели две свечи, отбрасывавшие мягкий свет по всей комнате. На рояле высилась большая чаша, до краев заполненная источающими аромат розами. Вдоль стен стояли низкие скамеечки, оттоманка и глубокие кресла.

Фриц сказал сухо:

— Этого освещения будет достаточно. Мы так поставили кресла и скамеечки, чтобы каждый погрузился в полумрак и как бы остался в одиночестве. Мы, люди, — странный народ. Мы стесняемся обнаруживать свои эмоции перед ближними, даже если хорошо знаем друг друга, — а часто и перед самими собой. Поэтому каждый из нас будет чувствовать себя в одиночестве — настолько, что даже не сможет увидеть лица соседей.

Эрнст опустился в одно из кресел, другие последовали его примеру.

— Давайте некоторое время помолчим, — предложил Фриц. — Розы, свечи, летний вечер — все это и есть молчание.

Свечи слегка потрескивали. Элизабет широко открытыми глазами впитывала в себя прекрасную картину: розы в полумраке.

Стало совсем тихо.

Потом Эрнст встал и наполнил темно-красным вином бокалы, стоявшие рядом с каждым. На рояль, возле роз, он же поставил бокал и наполнил его до краев. Ему не удалось скрыть, что его рука дрожит.

— Дети мои, — начал Фриц, подняв свой бокал, но не смог продолжить речь.

Все молча выпили.

Эрнст быстро подошел к роялю, сел и ударил по клавишам. Бурная мелодия взвилась, опала и замерла... Потом вновь взмыла вверх, медленно перешла в минор и уступила место нежным звоночкам. Звоночки поплыли по комнате, словно жемчужины в серебристом фонтане, но вдруг сменились бурным водопадом звуков. Однако жемчужины то и дело всплывали в бурном потоке и неожиданно заполнили все пространство. Словно жемчуг на темном бархате, сверкнул в полумраке последний бурный аккорд, после чего Эрнст встал и вновь опустился в глубокое кресло.

Элизабет слушала музыку, теряясь в догадках. Прелестные мелодии ласкали ее сердце и в то же время тревожили, неизвестно почему.

— Я нашел несколько стихотворений, написанных в то счастливое время, и хочу вам их прочесть, — сказал Фриц и откинулся на спинку кресла.

В тишине сумерек

Я вновь думаю,
Все вновь и вновь —
О тебе, любимая,
Твою легкую поступь
Ловит мой слух
В каждом приятном звуке.
И ты приходишь!
Всегда приходишь!
И все же тебя здесь нет.
И ожиданье — благодать для души.
Моя любовная тоска нежна
И всемогуща, как голубой свет,
Струящийся из твоих глаз
Словно звучащее сокровище,
Скрытое под плащом ночи.
Ты приходишь!
Всегда приходишь!
Легчайшими шагами любви
Ты подходишь все ближе.
Каждое дуновение ветра напоено
Ароматом твоей благодати...
И я во всей Вселенной нашел
Место у твоей груди
И пью земли и неба
Блаженнейшее блаженство.

— Пусть Элизабет споет, — попросил Фрид.

Эрнст вздрогнул. Правда, Фриц рассказывал, что она хорошо поет... Но петь сейчас? Его слух музыканта насторожился. Слегка взволнованный, он поднял глаза на друга. Выдержит ли Элизабет этот экзамен?

— Не согласишься ли аккомпанировать, Эрнст?

— С радостью...

В полумраке он подошел к Элизабет и подвел ее к роялю, а сам пробежался пальцами по клавишам.

— Что будем петь?

— «Миньону», пожалуйста, — попросил Фрид.

Эрнст скривил губы в усмешке.

— Значит, «Миньону»...

Он протянул Элизабет ноты. Но она покачала головой. Хочет наизусть... Что ж, тем лучше. Эрнст заиграл вступление. Элизабет запела звучным и вкрадчивым голосом:

Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,
Где пурпур королька прильнул к листу,
Где негой Юга дышит небосклон,
Где дремлет мирт, где лавр заморожен?
Ты там бывал?
Туда, туда, Возлюбленный, нам скраться б навсегда.

Эрнст был поражен вибрирующей легкостью этого голоса. Элизабет пела, без труда подстраиваясь к аккомпанементу. Ее голос наливался силой при словах «Туда, туда» и томно ослабевал, когда звучало: «Возлюбленный, нам скраться б навсегда».

Ты видел дом? Великолепный фриз
С высот колонн у входа смотрит вниз,
И изваянья задают вопрос:
Кто эту боль, дитя, тебе нанес?
Ты там бывал?
Туда, туда!
Уйти б, мой покровитель, навсегда.

Эрнст взглянул на Элизабет и чуть не забыл про аккомпанемент, так поразительна была прелесть картины, которая представилась его глазам. Отсветы колеблющегося пламени свечей чудесно вплелись в волосы Элизабет и заставили плясать световых зайчиков на ее золотом обруче. Казалось, ему явилась Миньона — столько невыразимой любовной тоски было написано на ее прекрасном лице.

Ты с гор на облака у ног взглянул?
Взбирается сквозь них с усилием мул.
Драконы в глубине пещер шипят,
Гремит обвал, и плещет водопад.
Ты там бывал?
Туда, туда
Уйти б с тобой, отец мой, навсегда.⁸

Белое платье завершало картину. Это сама Миньона пела о своем томлении под голубым предвечерним небом. Она показалась Эрнсту не то королевой, не то чуждедальной принцессой, и он уже не понимал, как мог так долго молча идти рядом с ней. И когда она мельком взглянула на него отсутствующим, серьезным взглядом, Эрнст почувствовал, как сильно забилося его сердце. Что же это было? Потом он вновь переключил все внимание на клавиши и стал вплетать серебряные звуки рояля в мелодичный голос, который все слушали, затаив дыхание. Казалось, никто из них уже не ощущал себя на земле: кругом раздавались лишь небесные звуки. И Эрнсту подумалось: пусть бы этот нежный голос звучал вечно. Миньона...

— Отныне мы будем называть тебя Миньонхой, — промолвил Фриц. — Миньона — любовное томление без конца и края.

Когда Эрнст молча поцеловал руку Элизабет, ее глаза показались ему удивительно темными.

Они еще немного поговорили о тоске, потом перешли к единственной теме, охватывающей все — весь мир и всю жизнь, рай и ад, — теме любви.

— Любовь — высшая степень растворения друг в друге, — произнес Фриц. — Это величайший эгоизм в форме полного самопожертвования и глубокой жертвенности.

— Любовь — это борьба, — возразил ему Эрнст. — И главная опасность — желание отдать себя целиком. Кто сделает это первым, тот проиграл. Нужно сжать зубы и быть жестоким — тогда победишь.

— Да что ты, Эрнст! — воскликнул Фриц. — Любовь — это высшая красота в чистейшей форме. Любовь — это красота...

— Любовь — это жертва и благостное служение, — сказала Элизабет.

Возникла пауза.

— А ты, Паульхен, пока еще ничего не сказала, — молвил Фриц. — Как ты понимаешь любовь?

— Ах! — прозвучал в темноте голос. — К чему столько слов? Любовь — это любовь,

⁸ Гёте И. В. Миньона. Пер. Б. Пастернака.

только и всего!

Все рассмеялись.

— Паульхен в порядке исключения раз в кои-то веки сказала правду, — заметил Эрнст. — Тут даже спорить не о чем: любовь — она и есть любовь! Ее надо чувствовать, а не тратить попусту затасканные слова!

Он порывисто встал, подскочил к роялю и воскликнул:

— Шопен!

Словно мерцающие чешуйки звезд, в окна влетели гомонящие гномики и, сплясав вокруг свечей, попадали в розы. Крошечные эльфы встали в хоровод и запели свои песни серебристыми голосами, чистыми и звонкими, как лесной ручей. Еще одна струящаяся, как бы бегущая по кругу мелодия, долгая ликующая нота, ферматой повисшая в воздухе, потом быстрые переливы вверх-вниз по звукоряду — и наваждение растаяло.

Все еще не успели опомниться и сидели, словно окутанные прозрачной душистой паутиной, а Эрнст уже заявил:

— Теперь Григ — «Весна».

Едва слышные изящные аккорды. Чудесная мелодичная кантилена. Тягучие пассажи и нарастающая мощь, потом переходы от тихого шелеста и спокойных облаков ранней весны к ветвям, звенящим листвой. Затем басы колоколов, глухой шум, всеобщее возбуждение, мрачное торжество, пролитое вино, венок вокруг чела. И вот — радостное опьянение! Это юность мира! Синие моря, белые облака, далекие горы — и звуки, звуки, звуки! Потом пение, пение, пляски, все громче, все чище... Поток звуков ширится. Словно по мановению волшебной палочки, расцветают все цветы. Весна! Молодость! И — тишина!

— Теперь свое, — попросил Фриц.

— Хорошо. — Эрнст откинул голову, чтобы отбросить волосы со лба, и вновь склонился над клавиатурой. Мощный аккорд оглушил всех. Еще один — и целая баррикада аккордов взгромодилась следом. Мрак. Но за ним — дерзкая беззаботная трель рассыпалась серебряным смехом и вдруг, жалобно стеная, бросилась вниз, преследуемая демоническим хохотом. Непрерывное нагнетание мощи, упорный труд на глубине, строительство — все выше и выше, и вдруг крушение, за ним — восстановление, сизифов труд, настигающая поступь дьявола. Потом — мрачное, глубоко прочувствованное пение. По-детски радостное щебетанье ласточек, легкие танцевальные ритмы, баюканье, тихий смешок — и внезапно дьявольский хохот по всей клавиатуре сверху вниз, режущий диссонанс, обрыв...

Эрнст быстро встал и бросился в кресло.

— Эрнст... — Фриц был так потрясен, что не смог договорить.

Элизабет тихонько поднялась, подошла к роялю и добавила к еще реющему в комнате заключительному диссонансу глубокую, прекрасную и гармоничную концовку.

Эрнст вскочил на ноги: глаза горят, лицо застыло как маска.

Элизабет подошла к Фрицу. Тот погладил девушку по голове и вдруг заметил слезы в ее глазах.

— Миньона, — сказал он мягко. — Все хорошо. А теперь спойте мне на прощанье нашу старую песню, любимую песню-жалобу, которую моя душа не может избыть. Ее песню...

Элизабет опять села за рояль, сыграла простое вступление и запела:

Слышу до сих пор, слышу до сих пор
Песню юности моей —
Сколько рек и гор, сколько рек и гор
Развели нас с ней!
Ласточка в мой дом, ласточка в мой дом
Прилетала каждый год —
А теперь о чем, а теперь о чем
Она поет?

Фриц всем телом вжался в кресло. Эрнст, взволнованный до глубины души, безумными глазами глядел на Элизабет. В мерцающем пламени свечей она казалась ему белым ангелом.

Милый отчий край, милый отчий край,
В заветной стороне
Хоть разочек дай, хоть разочек дай
Побыть — пускай во сне.
Как прощался я, как прощался я,
Думалось, весь мир отныне — мой,
А вернулся я, а вернулся я
С пустой сумой.

От кресла, в котором, съежившись, сидел Фриц, донесся короткий сдавленный звук, похожий на сдерживаемое рыдание. Эрнст прошептал себе под нос: «Миньона, настоящая Миньона», — его кулаки при этом машинально сжались и разжались.

Ласточка летит, ласточка летит
В свой скворечник по весне,
Кто же оживит, кто же оживит
Пустое сердце мне?
Ах, не принесет, ах, не принесет
Счастье ласточка с собой.
Но она поет, но она поет,
Как той весной.

Фриц сидел неподвижно. Эрнст чувствовал, что его глаза пылают. Он вскочил, подошел к Элизабет и молча повел ее из комнаты. Фриц и Паульхен последовали за ними. Один Фриц остался в темной мастерской, заполненной ароматом роз и красными отблесками свечного пламени в вине.

— Пусть он побудет один, — сказал Эрнст, выйдя на улицу. — Давайте прощаться.

Фриц отправился проводить Паульхен, а Эрнст с Элизабет пошли бродить по ночным улицам.

Звезды мерцали во всем своем великолепии. Элизабет остановилась и прошептала:

— Звезды...

«А ты — золотая арфа, на которой природа наигрывает свои напевы», — подумал Эрнст.

Свет фонарей блуждал по их лицам. В воздухе стоял густой аромат садов. Эрнст взял Элизабет под руку и свернул в липовую аллею на городском валу. Сонно урчала река. Липы шумели кронами.

Элизабет опять замерла на месте и прошептала:

— Эти липы...

Эрнсту показалось, будто все неузнаваемо изменилось — звезды, река, липы. Будто он их никогда и не видел раньше. Внезапно по его телу пробежала дрожь, а душу охватила невыносимая тоска. Все его мысли словно получили серебристое обрамление. Он остановился как вкопанный и с трудом выдавил:

— Элизабет...

Она молча глядела на него.

Это длилось долго.

— Элизабет... — Он опустился перед ней на колени.

Его захлестнуло темной волной и понесло куда-то к неведомым землям, серебряным землям любовной жажды.

Вдруг он ощутил на своем лбу ее слезы.

— Элизабет! — воскликнул Эрнст и заключил ее в свои объятия. — Ты! Ты! Ты — ночной покой и звезда моей тоски! Обними грезами своей души мою безумную жизнь!

Продолжая плакать, она прижалась головой к его груди. Эрнст почувствовал себя королем, у ног которого лежали чужие короны. Его родная земля неизмеримо раздалась во все стороны, и над ней замерцали мирные звезды.

Так он стоял под стенами собора, вслушиваясь в бурные откровения своей души. Внезапное осознание выпавшего ему счастья окатило его стремительной волной, Эрнст с торжествующим воплем подхватил Элизабет на руки и бросился в темноту.

— О мой светоч... Мое блаженство... Моя мечта...

Он бережно опустил ее на землю и заглянул в глаза.

А она вдруг сказала:

— Я люблю тебя...

И крупные слезы выкатились из ее глаз.

В мансарде Фрица перед портретом Лу горели темно-красные свечи. Пламя их колебалось и дрожало, так что казалось, будто прекрасные глаза изображенной на нем женщины поблескивали, а розовые губы вздрагивали.

Фриц углубился в чтение старых пожелтевших писем. На его лице ясно читались мучившие его чувства. Потом он усталым невидящим взглядом в пространство, подперев голову рукой.

Тихо открылась входная дверь. Вошел Эрнст. Он тотчас понял, чем был взволнован друг, и крепко обнял его.

— Фриц...

Фриц вздрогнул от неожиданности и страдальчески улыбнулся:

— Дорогой мой мальчик... Жизнь безумна и удивительна... Но еще безумнее и удивительнее душа человеческая...

Эрнст помог Фрицу встать.

— Фриц, ты часто подбадривал меня в минуты отчаяния. Неужто теперь ты отчаялся сам? Посмотри, звезды светят нам в слуховое окно, наше Окно Сказок. Это наши звезды...

— Если бы можно было вырвать из груди сердце и на его место вложить холодную звезду, — горько улыбнулся Фриц, — было бы куда лучше... А подчас и легче...

— Фриц, разве не ты однажды сказал, что лишь страдания придают нашей жизни ценность? Что ты и не хотел бы прожить жизнь без страданий.

Фриц молча глядел в одну точку. Потом взял себя в руки и сказал:

— Ты прав, мой мальчик. Я просто раскис. Прости. Закури сигарету и побудь еще немного со мной. Ты проводил Элизабет до дома?

— Да... И она меня.

— Я так и думал.

— Я хочу вернуться на родину!

— Элизабет — твоя половинка. Это не шаблон, каким пользуются обывательницы, святая своих детей. Нет! По большому счету, по глубинной сути вы и впрямь подходите друг другу.

— Я ее очень люблю.

— Не забывай ее! Ведь ты знаешь, что верность не приобретается и не отбрасывается вместе с обручальным кольцом. Ты молод. Жизненные бури еще будут бросать тебя из стороны в сторону, ибо само понятие верности изменчиво, оно вовсе не так однозначно, как понимают его филистеры, у которых в жилах не кровь, а теплая водица. Венцом твоей верности будет, если ты в конце концов возвратишься к Элизабет. Ибо она — твоя половинка! Помни об этом! Может быть, мой совет пригодится тебе, когда над моей могилой уже давно будет веять ветер.

— Сердце мое полно любви к ней, Фриц...

— Охотно верю...

— Она так чиста душой...

— И любит тебя. Я уже давно это понял — вернее, почувствовал. Ты скоро уедешь. И увезешь с собою драгоценное сокровище: родину, заключенную в сердце женщины.

— Для меня родина — это ты, Фриц.

— Это разные вещи. Юность должна жить в женском сердце. Дарить себя Ей и у Нее же черпать новые силы.

— Чтобы стать человеком...

— Чтобы из людей получилось человечество.

— Однако на свете много людей, но как мало среди них человек!

— Мы слишком любим самих себя. Эгоизм считается плохим качеством. Никто не хочет прослыть эгоистом, но каждый — законченный эгоист. Мы очень дорожим своим «я»! Каждый стремится найти свою мелодию, свой тон, свое звучание. Все идут разными путями, а нужно пройти через многих людей, прежде чем найдешь путь к самому себе, и нет пути труднее этого. Ведь надо сбросить с себя груз тщеславия, завышенной самооценки и самомнения, а это процесс болезненный. От Я к Ты — великий путь человечества. Может, мы никогда и не сумеем свершить этот путь, а все же — и тем не менее! — стремимся. От Я к Ты, к великому Ты! И потом уже — от Ты к Все! Путь обращения в чувство — к великому Оно! Человечество! Что значат названия? Звук пустой! Чувство — это все! Чувство без слов и образов... Глубокий покой...

— Это смерть. Я вообще не могу ее себе представить, — признался Эрнст. — Сам не знаю почему, но я ощущаю ужас, стоит мне только подумать о ней. Я верю, что никогда не умру.

— Это вера, свойственная молодости. Все в тебе стремится, рвется к полудню. Пока еще ты идешь в гору. А когда достигнешь вершины и начнешь спускаться туда, где в предвечернем сумраке уже сгустились тени, то мысль о конце покажется тебе более близкой. Смерть — это хамелеон. Она всегда является нам в ином обличье. Или, вернее, мы сами — хамелеоны, ибо всегда встречаемся с ней в ином образе. И смерть нам то друг, то враг. Однажды я записал в дневнике: «Не разочаровывают нас только Бог и Смерть. Значит, они образуют единство. И имя этому единству — Жизнь!» Смерть — это тоже часть жизни, ее отрицание. Все сплетается в великую гармонию единосущности. И ты под конец примиряешься со всем...

Свечи догорели. Сквозь окно в крыше светили звезды.

Фриц сидел в полной темноте, лицо Эрнста смутно белело во мраке.

— Все так непостижимо и странно, — промолвил Эрнст. — Или это я вижу все в неверном свете? Абсолютное всегда кажется таким далеким и недостижимым, оно так надежно скрыто жалкой пестрой обманкой, которую мы называем жизнью. Надрываемся изо всех сил, трудимся, как муравьи, и все же вечно бегаем по кругу. Доберемся ли мы до цели? О, если бы мы точно знали, какова она, эта цель! Но тогда она была бы уже позади. По мне — пусть это будет смутная тяга или инстинкт. Но мы не обладаем даже чистым инстинктом. Как счастливы животные — у них-то он есть! Сравни расколотый, запутанный, сам себе противящийся инстинкт, называемый нами разумом, — и монолитный, замкнутый в самом себе инстинкт животного. Жизнь действительно странно устроена, Фриц.

— Нет! — прозвучало из темноты. — Жизнь хороша! Это доказывается уже тем, что человек вообще смог понять эту мысль. Все течет, и все находится в равновесии, все справедливо, и — несмотря на несправедливость — все хорошо. Добро и Зло: что ты назовешь Добром, я могу счесть Злом. Что благо для одной особи, может быть вредно для вида в целом. Что кажется высоким из долины, может показаться низким с горы. Что представляется Злом с вершины духа, может быть Добром с духовно более высокой точки зрения, а с более далекой — опять-таки Злом и в конце концов с самой далекой — ни тем, ни другим. Это выравнивание точек зрения — бесконечно. У нас, людей, слишком много самодельных ценностей. Они быстро тают, как туман. Вселенная — это громадный лес. И наш разум проникает в него на один сантиметр вглубь, ввысь и вширь. Где уж нам пытаться

что-то там оценить и измерить! Мы должны быть довольны уже тем, что прохладный ветерок — великое Оно — дает нам возможность и в этом затхлом мирке ощутить всеми фибрами души: жизнь и впрямь хороша! В конце концов, что толку повторять: все так запутано, так безотрадно... Или: жизнь — это американские горки, а подчас она похожа и на куриный насест... Признаюсь, я до сих пор не знаю — окружающая действительность мне только кажется или все так и есть на самом деле? Глупейший вопрос! Мы ведь всегда воспринимаем лишь видимость. Много ли пользы в пессимизме? Ровно никакой. Зачем же в таком случае взрывать устоявшиеся формы жизни? Чуть было не сказал: чистому — все чисто, свиньям — все свинство. И аналогично: хорошему — все хорошо, а плохому — все плохо. Но я не люблю доказательств с помощью пословиц или аналогий. Они не убеждают! Все хорошо! Люди хороши, жизнь хороша, весь мир хорош. А поскольку «хорошо» означает «внутренне прекрасно», то значит — все прекрасно! Взгляни на мир вокруг — на звезды, на облака, на дождевого червя и на солнце: все это прекрасно! А уж человек-то! Часто, изображая на полотне обнаженное человеческое тело, я думал: «Как оно прекрасно и целомудренно! В сущности, одежды только оскверняют его. Вместе с одеждой человек приобрел низменные желания. Перед обнаженной девственностью они исчезают. Один развратник как-то сказал мне: «Когда вы наедине с девицей, не позволяйте ей раздеваться догола — исчезнет все ее очарование. На ней всегда должно оставаться хоть что-нибудь — чулки, сорочка, трусики, туфельки или шубка, — все равно что: лишь бы не нагишом». Из этого и проистекает чистота и красота обнаженного человека. Люди хороши. И последний вывод: все вообще хорошо.

— Но нельзя же менять свою душу и свое мировоззрение, как платье, и верить в то, что совсем недавно проклинал.

— Отчего же, и такое бывало. Вспомни хотя бы Савла-Павла. Стоит лишь захотеть! И вполне можно поверить в то, во что раньше никогда не поверил бы и даже не мог предположить, что такое возможно. Но пессимизм, как ни странно, — привилегия молодости, которая, в сущности, имеет на это минимальнейшие права. У нее это просто игра с трагикой жизни, — правда, игра вполне искренняя.

— И все-таки, Фриц, этот пессимизм — лишь внешний слой глубинного оптимизма. Ведь к сочувствию более всего склонны люди счастливые. Счастливый человек воспринимает чужое несчастье острее, чем другой, тоже несчастный. Несмотря на это, вероятно, встречается и обратное. И кое-кто из тех, кто вопит о своих бедах, в глубине души вполне доволен судьбой. Есть люди, которые вообще не могут жить безбедно. Человек — великий лицедей, причем он любит играть трагические роли. В ореол мученика многие вцепляются мертвой хваткой. Есть и такие, у кого для счастья просто не хватает мужества, а когда оно выпадает, люди отталкивают его — хотят быть несчастными, но это им тоже не удается, ибо в несчастье и есть их счастье. Каждый стелает и жалуется другим, как ему плохо живется. А почему бы не наоборот! Почему бы не рассказать о хорошем! Кто постоянно талдычит о своих неудачах, в конце концов начинает сам в них верить. Как часто люди без всякой нужды портят себе жизнь — а ведь она так прекрасна! Главное — быть не мелочным, а великодушным. Тогда и жизнь будет великодушна к нам!

— Ты прав, мой мальчик! Нас ничто не может свалить. Все должно лишь прищипоривать нас. Я так рад, что твоя энергия не укрощена. Побеждать жизнь — смеясь! Это и есть право молодости! Покуда не наступит час, когда наше «я» обратит оружие против нас самих и мы рухнем на колени перед врагом, сидящим внутри нас: это будет час познания. И вот тогда подняться вновь на ноги нам помогут свежие губки и ласковые ручки...

— Элизабет, — глухо проронил Эрнст. — Да, Фриц... Все хорошо... И тем не менее... Ты прав... Все хорошо. А теперь давай пойдем спать.

Дни были как на подбор. Небо дышало божественной милостью. Каждое утро солнце всходило в сиянии лучей и весь день сверкало с ясного голубого небосклона. Фрицу невольно пришли на память дни, проведенные в Италии. Между прочим, вспоминать о них

его заставляла — чем дальше, тем настойчивее — и советница Фридхайм. Она завидовала его итальянским впечатлениям, но при этом была чересчур тяжела на подъем, чтобы самой отправиться за таковыми. Фриц несколько раз был у госпожи Хайндорф вместе с Эрнстом Винтером. Они там музицировали, и все восхищались мастерской игрой Винтера и чудесным созвучием пения Элизабет и аккомпанемента Эрнста. Никто, пожалуй, так и не догадался об истинной причине этого. Добрая, давно живущая на земле госпожа Хайндорф что-то заподозрила, но только улыбнулась своей мягкой улыбкой и сказала Фрицу: «Дети, кажется, понравились друг другу. Оставим их, пусть молодые наслаждаются своей весной. Родители и воспитатели всякого рода не могут поступить глупее и бессердечнее, чем запретить молодым то, что у них самих когда-то было или к чему они всей душой стремились. Я доверяю вам и вашему другу, который мне, впрочем, очень нравится, так же как и Фрид. Но Фрид по натуре мягче и спокойнее, а в вашем друге Эрнсте есть что-то от Фауста, что-то загадочное. Это «что-то» привлекает к нему, потому что облачено в некий смешанный наряд из любезности и мечтательности...

Госпожа советница также ощутила привлекательность Эрнста. Она решила насильно покровительствовать ему и пригласила в свой салон, где он мог бы познакомиться с влиятельными деятелями искусства и критиками. Эрнст, смеясь, отказался. Еще год он проведет в Лейпциге, получит последнюю шлифовку, — а затем вперед, в большое плавание по морю будущего. В общении с Элизабет он был нежен чуть ли не до робости — тут его склонность к мечтам и фантазиям проявлялась больше, чем где-либо еще. Они часто музицировали вдвоем. Элизабет выучила песни Эрнста на слова Фрица, и теперь они решили воспеть красивый портрет в сумерках, когда свечи потрескивают, воск плавится и стекает каплями, красивые глаза светятся, а розовые губы трогает улыбка.

Наконец Эрнст получил вести из Лейпцига, и день расставания приблизился. С Элизабет он уже попрощался накануне: «Прощай, Миньона, и думай обо мне!» — «Всегда... Всегда...»

И вот они с Фрицем вдвоем. Их последний час в Приюте Грез.

— Жажда приключений, свойственная молодости, вновь проснулась во мне, — сказал Эрнст. — Ты знаешь, Фриц, сколь многое удерживает меня здесь, и тем не менее я уже горю от нетерпения снова оказаться в Лейпциге.

— Тяга к новому всегда утешает при расставании.

— Я просил Элизабет почаще приезжать ко мне.

— Она так и сделает.

— Побереги ее ради меня...

— С радостью!

— А теперь, старина, — сентименты мне чужды. Прощай! Оставайся таким, какой есть!

И — моим другом!

Они обменялись рукопожатием.

— Прощай, Эрнст. И возвращайся таким, какой ты сейчас.

Эрнст зашагал на вокзал. На какой-то миг боль расставания охватила его. Он гордо откинул голову и сказал себе: «В Лейпциг!» Тем не менее под равномерный перестук колес в его душу неодолимо прокралась серая тоска. Но он снова взял себя в руки и повторил: «В Лейпциг!»

— Ну и жарница сегодня, уважаемый маэстро! Просто нет слов. — В Приюте Грез госпожа советница со стоном опустила свое стокилограммовое тело в заскрипевшее гостевое кресло. — Да и забрались вы слишком высоко! Конечно, тут так поэтично... — Она оглядела стены. — Очень даже поэтично. Но знаете, что я вам скажу: поэзия не должна быть слишком труднодоступной.

— То есть она должна быть скорее салонной, не так ли, сударыня?

— Дорогой друг, что за мысль! У вас тут прелестно. А вы догадываетесь, почему я пришла?

— Даже и не пытаюсь. Просто рад, что вы здесь.

— Так я вам скажу, дорогой маэстро. Написанный вами портрет Элизабет Хайндорф понравился мне до такой степени, что я решилась заказать вам свой. В той же позиции, то есть в профиль... Вот так...

У Фрица выступил холодный пот. В ужасе он оглядел нос картошкой и жирный подбородок толстухи. А уж профиль! Кошмар!

— Сударыня! Разве фотография не была бы лучше? Она делается быстрее. А писать маслом — дело долгое. Подумайте только, сколько сеансов вам придется часами сидеть не двигаясь.

— Это будет восхитительно! — пропела советница. — Мы с вами прелестно проведем эти часы. Вы будете рассказывать мне об Италии.

Фриц пришел в отчаяние. Он и так-то почти уже не мог больше разглагольствовать об Италии. Непрерывные требования советницы исчерпали его фантазию. Впечатления Фрица были отнюдь не столь бесконечны, а те, что еще оставались, он не мог выразить словами. И вот теперь — эта перспектива...

Советница любовно взглянула на него. Тут в голову Фрица пришла спасительная мысль.

— Но я ведь не портретист, сударыня.

— О, это ничего! Портрет Элизабет доказывает, на что вы способны.

— Сударыня, ваш глаз знатока, — советница польщено улыбнулась, — наверняка заметил, что портрет не совсем похож, — наворачивал Фриц. — Он очень стилизован.

— Да, вы правы, — кивнула она.

Фриц воспрял, советница явно была готова на все.

— А это не каждому по вкусу. У меня лучше получаются морщины и мешки под глазами, чем гладкие юные лица. Я пишу главным образом старые, изборожденные морщинами лики и никогда не пишу молодых. Или же стилизую, как вы видели. В молодых лицах, как я уже сказал, я плохо разбираюсь. Поэтому я вам и отказал, — он серьезно посмотрел в расплывшееся, бесформенное лицо толстухи, — точеные линии и формы у меня не получаются. Но у меня есть друг, молодой художник, очень талантливый. Он учился в Дюссельдорфе, и здесь у него уже много заказов. Он пишет портреты главным образом молодых людей. Что вы на это скажете, сударыня?

Советница покачала головой. Грубая лезть ударила ей в голову. Однако такие удары женщина вполне может вынести! Еще как может!

— Но ведь мне больше всего хотелось попасть к вам.

— И я с радостью взялся бы за эту работу.

— Ну, что же, может быть, вы пришлете ко мне своего друга?

— Само собой разумеется! Когда?

— Во вторник, к пятичасовому чаю — и вместе с вами.

— Он сочтет это приглашение за большую честь для себя. Мы будем точны.

— Хорошо, маэстро... — Советница глядела на него томными глазами. — А теперь покажите мне ваши последние работы...

Фриц прошел вместе с ней в мастерскую. Наконец советница откланялась:

— Итак, до вторника... И вы непременно расскажете об Италии.

Когда она ушла, Фриц облегченно вздохнул. Пронесло!

Да еще одним махом двоих убивахом. У Фрида будет одним заказом больше, а сам он избавился от этой славной советницы. Очень довольный собой, Фриц сел пить чай с медом.

И вдруг услышал тихое жужжанье в Окне Сказок.

«Да это сама медоносица пожаловала!» — подумал он. Вот уже несколько дней пчела регулярно прилетала к нему в гости. Вместе с солнцем она проникала в комнату через Окно Сказок и с жужжаньем облетала все цветы подряд. Фриц взял немного сахара и меда и осторожно поставил блюдечко возле цветов. Пчела вскоре заметила это и принялась лакомиться. Через некоторое время она поднялась в воздух и, прежде чем улететь, несколько раз, жужжа, — словно в знак благодарности — облетела вокруг Фрица.

На следующее утро Фрица разбудили ни свет ни заря. За дверью слышался какой-то шорох — словно осторожно ступали несколько человек. Аккорд на лютне. Тишина. И три молодых чистых голоса пропели в сопровождении отрывистых звуков лютни:

Скрипач-француз — снимите шляпы! —
Попал беззубой смерти в лапы.
У врат небесных он стоит,
Но Петр суров, и вход закрыт.
Предстал он у небесных врат,
Петр новичку, конечно, рад.
Старушек Бог окликнул:
— Эй, Как поступить мне с плотью сей?
— Покойник был какого сорту?
Пошли его к чи-че-чу-черту!
Розам — фиал, Женщинам — бал,
Прекрасная Розмари.
Привстали старички: — Пора!
Он нам не делывал добра.
Он даже в церковь не ходил.
И «Отче наш» не затвердил!
Скрипач не выдержал: — Постой!
Была католик скрипка мой!
И «Господи, спаси» весь день
Он пел для вас без всякой лень.
Розам — фиал, Женщинам — бал,
Прекрасная Розмари.
Ну, а девицы сразу в крик:
— Он даже в суть любви не вник,
Он целовал нас и бросал —
Нет, чтобы соблазнить, нахал!
Скрипач захныкал: — Я одна
Святой Марии был верна.
Без сердца я любить нельзя.
Мой сердце ей оставил я.
Розам — фиал, Женщинам — бал,
Прекрасная Розмари.
Сбежались дети, гогоча:
— Ах Петр,пусти к нам скрипача!
Пуškai играет он — и с ним
В край роз мы вместе улетим!
Господь изрек: — Он есть прощен!
По нраву малым деткам он!
Мой Петр,пусти его тотчас!
Детишки просто рвутся в пляс!⁹

Затем трио радостно добавило от себя: «Поздравляем, дядя Фриц! Поздравляем с днем рождения!» После чего послышалось торопливое царпанье и грохот молодых шагов вниз по лестнице.

Фриц был искренне тронут. Он быстро вскочил с постели и оделся. За дверью стояла

⁹ Стихотворение Детлева фон Либиенкронг (1844–1909), немецкого поэта и писателя. Пер. В. Летучего.

пестро декорированная корзина с цветами и печеньем. А рядом лежали самодельный шелковый кисет, несколько книг и целая папка с гравюрами. Фриц осторожно внес все это в мансарду и вышел из дому, чтобы сделать покупки. Он накупил много всякой всячины — изюм, масло, яйца, миндаль — и с довольным видом принялся замешивать тесто. Потом отнес его к соседке, которая твердо пообещала ему испечь пирог в наилучшем виде.

— А почему бы вам не купить готовый у булочника?

— Я и купил уже. Но этот пирог — особый. Я получил его рецепт у своей подруги, ныне покойной.

Ближе к вечеру пожаловали гости. Мансарда была празднично убрана цветами. Паульхен влетела первой и повисла на шее у Фрица:

— Дядя Фриц, живи еще тысячу лет, и мы всегда будем рядом с тобой. А еще прими от меня поцелуй!

Все смеялись и болтали наперебой:

— О, дядя Фриц, какой вкусный у тебя пирог!

— Ты его сам испек?

— Как замечательно пахнет кофе!

— День рождения удался на славу!

Все сидели вокруг стола с горящими свечами и горячим кофейником посередине и уплетали за обе щеки покупной пирог.

— А теперь очередь еще одного пирога — пирога Луизы, — объявил Фриц. — Я его сам приготовил по рецепту Лу. Попробуйте-ка.

— Дядя Фриц, ты просто мастер на все руки.

— А знаешь, что сделала Паульхен? — начал Фриц. — Она сегодня назначила свидание двум студентам в красных кепи — обоим на четыре часа. Одному на городском валу, другому у городских ворот, и теперь они там томятся в ожидании.

— Как же так, Паульхен? — улыбнулся Фриц. — Значит, ты можешь быть такой жестокой?

— Ах, дядя Фриц, ничего в этом нет плохого! Оба они — ужасные болваны. Один — патентованный болтун и франт, а второй полагает, что он неотразимый Дон Жуан. Так что холодный душ им пойдет на пользу.

Так они болтали о том о сем до самого вечера. В дверь постучали. Почтальон принес пакет от Эрнста.

— Дядя Фриц, открывайте!

В пакете оказались шесть песен на стихи Фрица, положенные на музыку Эрнстом, и письмо.

— Скорей прочти вслух! — потребовала Паульхен.

— Хорошо. Читаю: «Дорогой Фриц! Есть люди, не считающие дни рождения таким уж большим праздником, поскольку и родиться на белый свет — весьма сомнительное счастье. Никогда не знаешь — проклинать или благодарить судьбу. В твоем случае хотим именно благодарить. Так что — жму твою руку и желаю всего наилучшего. Сам знаешь, что я имею в виду. Будь я сейчас с вами, мы бы вместе разговорили молчалиницу с золотым горлышком и поболтали бы о будущем. Занятия — великолепны, театр — первоклассный. Надеюсь сразу после окончания получить место капельмейстера. На эту тему вроде все. О чем еще написать? Знаешь, есть люди, которые вечно недовольны. Любая достигнутая цель для них — не остановка, а лишь основание для новых желаний. Война — для меня — не что иное, как жизнь, а мир — не что иное, как смерть. При этом я чувствую себя довольно сносно. И не собираюсь меняться. Зажимаю свою бешеную волю в кулак и вздымаю, как горящий факел, к голубому куполу неба. Вам, наверное, сейчас тепло и уютно всем вместе в Приюте Грез. Привет всем, а тебе, Фриц, всех благ от Эрнста».

— Давайте послушаем песни! — Все столпились у рояля и принялись наигрывать и подпевать.

Начало смеркаться. Когда все уходили, Элизабет попросила разрешения взять с собой

ноты, чтобы посмотреть их.

Стемнело.

Фриц убрал со стола и постелил белую скатерть. Потом зажег свечи в старинных подсвечниках, поставил их перед красивым портретом, вынул из ящика все письма Лу, склонился над ними и принялся читать.

Ночной ветер задувал в окошко, но Фриц этого не замечал. Он находился в совсем другом мире — слышал давно отзвучавшие слова, горячо любимый голос говорил с ним, а забываемые глаза смотрели на него. От пожелтевших страниц поднимался аромат его юности. И в каждом слове, на каждой странице говорила любовь. Любовь, любовь и еще раз любовь. А вложенные между страницами засушенные фиалки и лепестки роз, незабудки и желтофиоль вновь источали, как некогда, сладостные флюиды запахов. Фриц перелистывал письмо за письмом, и все они дышали любовью. На одном выцветшем листочке было написано: «Дорогой мой, я уже не я, а дыхание ветерка, цветок в росе, вечерняя греза. Мои голуби стали еще доверчивее, словно догадались об этом. Они садятся мне на плечи и склеивают крошки с моих губ. Дорогой мой, я брожу, как во сне, — о нет! Все, что связано с тобой, это жизнь, все, что происходит без тебя, это сон. Дорогой, я уже не я, я — это Ты, рыдающая от счастья».

Фриц застонал.

— Лу... Упоение и очарование, где ты?

Он не мог больше читать и сгорбился в кресле перед любимым портретом.

— Я так одинок и тоскую, — вырвалось у него. — Вернись... Ведь все мои думы — только о тебе...

Бледный свет луны слился со светом свечей.

— Ты пришла, ты здесь, любимая, — прошептал измученный одиночеством Фриц. — Иди, иди сюда, к камину поближе, сядь в это кресло. А ноги прислони к стенке камина — вот так, они у тебя сразу порозовели. Возьми это одеяло, ведь на дворе уже ночь, и по твоим глазам видно, что ты продрогла... Вот чай — сладкий, как ты любишь. Можно, я поддержу твою чашку? Вот так. Ну пей, любимая. Гляди, теперь уже и щеки твои порозовели. Устраивайся поудобнее в кресле и дай мне руку. А я прикорну у твоих ног. И давай наконец поболтаем...

...Я всегда знал, что ты вернешься ко мне. Посмотри, здесь все осталось по-прежнему, как было, когда ты ушла. Огонь теплится, ветер поет, сумерки навевают мечты. Одинокو мне было без тебя. И знаешь, что было хуже всего? Когда я, измотанный бурными событиями дня, после борьбы, побед или поражений видел, как на землю вместе с вечером снисходит дух благодного смирения, в моем сердце начинал звучать какой-то голос — то была жалоба ребенка, усталого ребенка: «Я так устал, любимая, приди, благослови меня, чтобы я мог уснуть». И было так трудно заставить этот жалобный голос умолкнуть... Пробовал я и пить, и шумно веселиться, и петь. Но лишь только неистовство утихало или прекращалось, тот же тихий голос настойчиво и проникновенно звал: «Я устал, любимая, приди же, благослови меня...» Я бил кулаком по столу и вопил: «Вина, самого крепкого! И забыть, забыть!» Гремела музыка, звенели рюмки, блестели лица, смеялись глаза. Отчаяние жгло мне душу, весь этот шум не мог заглушить тот тихий усталый голос. Вновь и вновь звучал он у меня в ушах: «Я так устал... Я хочу спать...» Тогда я уединился и с головой ушел в суровую мудрость и философию.

Зеленела весна, лопались почки, журчали реки, ярко светило солнце — ничего этого я не замечал. И тем не менее в медленно опускающихся сумерках мертвые буквы оживали. Я всматривался в книгу и ничего не видел, меня окутывал непроглядный мрак, а из далекой дали доносился жалобный ласковый голос: «Я так устал... Любимая... Приди, благослови меня, чтобы я мог уснуть». Тогда я отбросил пыльные фолианты и выбежал наружу, под купол неба и кроны деревьев.

День за днем, неделю за неделей я делал свою работу. И смотрел на жизнь как раньше, почти умиротворенно. Лишь когда на землю спускались сумерки, я терял покой и иногда все

еще слышал тот тихий голос.

Дать тебе еще чаю, любимая, дорогая моя? Иди ко мне, будем, как раньше, глядеть на огонь в камине и мечтать.

Ты только взгляни на это темное еловое полено. Маленькие голубоватые огоньки бегают по нему. Но вдруг — яркая желтая вспышка, и багровое пламя медленно одевает темное полено в прекрасные белые одежды, превращает неподвижность в летучесть, темное в сверкающее, окружает его сиянием славы — как ты меня.

Медленно вырастает из светящихся вод золотой замок. Вот уже видны контрфорсы, между ними серебрятся сумерки. Зеленые лужайки, темный лес, голубой купол неба, опирающийся вдали на синие горы. Чудесные очертания березовой рощи. Местность постепенно повышается, округлая вершина венчает пейзаж. Розы, розы, море роз! Голубые тени на мраморе, залитом солнцем. Озеро позади сада тоже сверкает в его лучах.

Давай, Лу, поплывем с тобой в его голубую прохладу...

Над нами белый конус надутого ветром паруса, под нами немыслимая глубина. Мы летим над белыми гребешками волн. И видим теперь лишь море, синеву и сверкание! Вдалеке появилась темная полоса: наш солнечный остров. Там мы лежим на белом песке и растворяемся без остатка в солнце и волнах. Ласковый летний ветерок выдувает все мысли из головы. Какое блаженство — лежать на песке и сливаться с Господом и природой! Несколько больших бабочек пролетают над нами.

Лу... Любимая... Взгляни на бабочек...

Сейчас лето и солнечный летний полдень...

Лу...

Тишина.

Ветер с моря становится прохладнее. Мы вновь скользим по волнам навстречу родине. Нашей родине, Лу! Мы, безродные, наконец-то обрели родину.

На зеленых лужайках фея сумерек плетет свою сеть.

Я крепко сжимаю тебя в своих объятиях. Мы медленно движемся к своему дому. Идем очень медленно, шаг за шагом, чтобы до дна испытать блаженство этого одиночества вдвоем.

На пороге мы останавливаемся.

Я смотрю на тебя... наклоняюсь... опускаюсь на колени... и говорю: «Я так устал... Любимая... Приди ко мне... И благослови меня, чтобы я мог уснуть».

Ты тоже наклоняешься ко мне, моя святая, и целуешь мой лоб и мои глаза.

На землю нашей родины медленно опускается черное покрывало ночи. Во мраке посверкивают слабые огоньки.

Стелется робкий дымок.

Мы вновь сидим у камина, Лу...

Наша мечта улетела...

Возьми свою чашку чая, Лу, забудь эту мечту и дай мне руку.

За окном завывает ветер...

Я хочу взять лютню, а ты станешь петь. Ту песню, которую пела мне когда-то.

Потом я вновь склонюсь перед тобой и скажу: «Я так устал, любимая, приди благослови меня, скажи мне молитву на сон грядущий, чтобы я мог уснуть».

Почему же ты не поешь?.. Лу, любимая...

— Ах, грезы, грезы... — сказал одинокий человек с горькой улыбкой. — От всего бывшего у меня только и осталось, что пожелтевшие странички и несколько увядших лепестков — выцветших залогов любви.

Потом он пошел в мастерскую и нажал одну из клавиш рояля. Чистый напевный звук поплыл по комнате. Фриц прислушивался к нему, пока он совсем не угас. «Такова и жизнь человеческая, — подумал Фриц. — Некий звук в ночи, быстро исчезающий без следа, и снова ночь... Я хочу на покой, Лу... Когда же ты позовешь меня?..» Он пошел было к двери, но вдруг повернулся и отчетливо произнес, обращаясь к полной, ярко светившей луне с какой-то загадочной неземной улыбкой:

— И тем не менее и жизнь, и весь мир... Именно поэтому — будьте же прекрасны.

VI

В Опере открылся новый сезон. Возбужденная нарядная толпа устремилась ко входу в театр, куда то и дело подъезжали фырчащие автомобили и стремительно подлетали элегантные экипажи. «Кармен», как всегда, пользовалась у публики успехом. В толпе были и Эрнст со своим приятелем Ойгеном Хилмером.

— Нынче должна появиться наша новая Кармен, — сказал Ойген. — Сгораю от любопытства. Говорят, писаная красавица.

— А меня интересует только оркестр, — заметил Эрнст.

Партер являл собою головокружительное зрелище. Из глубоких декольте дам выглядывали ослепительные плечи, шуршали шелка, хрустели накрахмаленные нижние юбки и воланы, сверкали дорогие меха.

Зал был набит до отказа. Началась увертюра, взвился занавес. Неувядающая опера Бизе изливала на публику потоки страсти. Наконец появилась Кармен. Эрнст был околдован. О, что это была за Кармен! Воплощение пламенной страсти! Эти горящие глаза, эти черные как смоль волосы! Вот она обворожительно глухо проурчала, перебрасывая сигарету из одного угла губ в другой:

Любовь свободой мир чарует,
Законов всех она сильнее.
Меня не любишь, но люблю я,
Так берегись любви моей!

Буря оваций. Кармен пришлось бесчисленно выходить на поклоны. Как выразился Ойген, она произвела фурор.

После спектакля друзья направились в небольшой уютный погребок, чтобы не торопясь обменяться впечатлениями. За бутылкой бургундского они говорили о спектакле, но больше — о самой Кармен. Ойген восхищался ее внешностью, Эрнст превозносил пение.

— Удивительно сочный голос. Черт побери, как гремело ее форте!

Мало-помалу погребок заполнялся посетителями. Появились и припозднившиеся театралы. Вдруг Ойген оживился.

— Это она, — прошептал он. — Она и впрямь направляется сюда!

В погребок вошла элегантная дама в сопровождении нескольких кавалеров. Единственный свободный столик оказался рядом с тем, за которым сидели Эрнст и Ойген. Она и в самом деле села там. Эрнст пригляделся к ней. Лицо дамы показалось ему знакомым. Но он никак не мог припомнить, где ее видел. Лишь когда она поздоровалась с каким-то господином, Эрнст наконец-то вспомнил. Он уже видел однажды этот гордый наклон головы — на променаде с Фрицем. То была знакомая Фрица. Уголком глаз Эрнст принялся за ней наблюдать. Она была очень красива. Густые черные волосы, породистое узкое лицо с огромными черными глазами. Она вполголоса роняла свои приказания. Ее кавалеры, видимо, принадлежали к сливкам общества.

Дама принялась оглядывать погребок. Заметив Эрнста, она на миг задержала на нем свой взгляд, как бы припоминая. Эрнст слегка покраснел и медленно перевел глаза ниже. Из-под шелковых нижних юбок выглядывала узенькая лодыжка и маленькая ножка, обутая в изящную лаковую туфельку. Дама перехватила его взгляд и улыбнулась какой-то особенной, как бы всезнающей улыбкой. Эта улыбка раздосадовала Эрнста, он счел, что держался по-детски и выставил себя на посмешище. Поэтому он быстро опорожнил свой бокал и с наигранным оживлением пустился в разговор с Ойгеном. Ойген был юноша добросердечный и легкомысленный. Он стал рассказывать о своей последней пассии.

— Мы с ней живем в одном доме, она внизу, я — этажом выше. Я музыкант, она в

музыке дилетантка, играет легкие сонатины и «Все обновляет месяц май», делая каждый раз по несколько ошибок. Причем играла она обычно вечером, когда я приходил усталый или хотел поработать. Она оказалась очень добросовестной «музыкантшей» и упражнялась на рояле по два часа ежедневно, без конца повторяя одни и те же два-три-четыре пассажа, — ну, ты знаешь. В первые дни я просто бесился от злости, в особенности потому, что представлял ее себе этакой старой курицей. Время от времени я стучал половой щеткой в пол, требуя тишины. Она играла еще громче. Я стучал еще яростнее. Наконец как-то вечером она снова принялась за игру, я вышел из себя, грохнул об пол столом и, пылая гневом, помчался вниз, чтобы пожаловаться домовладельцу. И кого же встречаю я на нижнем этаже? Мою противницу, тоже направляющуюся к домовладельцу с жалобой на меня! Я ожидал увидеть старую гусыню, а довелось лицезреть кудрявую чаровницу. Она ожидала встретить брюзгливого старого подагрика, а познакомилась с молодым загорелым парнем. О том, что было дальше, ты можешь легко догадаться — мы отпраздновали примирение.

— А как с игрой на рояле? — спросил Эрнст.

— Мы играем в четыре руки, — засмеялся в ответ Ойген.

За другим столиком тоже завязалась оживленная беседа, в которой певица, однако, почти не принимала участия.

Во время паузы в разговоре с Ойгеном Эрнст услышал, что говорилось за соседним столиком. Кавалеры рассыпались в комплиментах даме и старались перещеголять друг друга в изъявлениях восторга. Эрнст оторвал взгляд от скатерти, и его серо-голубые глаза смело глянули в черные глаза певицы. Потом он обвел быстрым взглядом ее кавалеров и насмешливо улыбнулся уголками губ.

Она обворожила его.

Эрнст вновь медленно опустил глаза долу и невольно задержал взгляд на узенькой лодыжке.

Она проследила за его взглядом и одним, почти незаметным движением приподняла подол, так что он смог увидеть шелковый чулок и начало стройной икры. Кровь бросилась Эрнсту в голову, когда дама опять улыбнулась ему той же особенной улыбкой.

Через какое-то время она поднялась. Эрнст глядел на нее горящими глазами, а она, отворачиваясь, вдруг подарила ему мимолетный загадочный взгляд. И тут же гордо двинулась к выходу в сопровождении своей свиты.

Кровь закипела в жилах Эрнста. Опера «Кармен» сама по себе заставила учащенно биться его сердце, а близость красивой женщины, так взволновавшей его в роли Кармен, совсем доконала. Эрнст рассеянно слушал болтовню Ойгена и вскоре отправился домой. Но дома оказалось, что сон бежит его. Перед глазами все время смутно маячили огни ramпы, слышался чарующий голос: «Так берегись любви моей!» Он попытался было думать о Элизабет, но ему показалось, будто чистый образ в его душе покрылся темными пятнами.

В полном душевном разладе с собой Эрнст оделся и выбежал на ночные улицы. Пока еще все эти фантазии не связывались для него с каким-то конкретным лицом. Он приписывал их своему горячему темпераменту, своей молодости, возбуждающей музыке Бизе. И все же за всеми отговорками и увертками скрывался один-единственный, опасный и пленительный образ — эта женщина.

Все последующие дни Эрнст ежедневно ходил в Оперу. После спектакля отправлялся в тот же самый погребок. Но больше не встречал там Ланну Райнер. Через неделю сжигавшее его пламя поутихло. Он вновь видел вещи в ясном свете дня и посмеивался над самим собой. С новым жаром набросился на занятия, которые немного забросил в последнее время. Здание Оперы он обходил стороной и много гулял. На пустынных лесных тропинках кроны деревьев подсказали ему своим шумом прелестный мотив, который он потом обработал в духе спокойной серенады Гайдна и назвал этот квартет именем Элизабет. В тот вечер, когда он поставил точку, настроение у него было необычайно спокойное и радостное. Он упаковал ноты и присовокупил к ним очень теплое письмо к Элизабет. Потом откинулся на спинку стула и умиротворенно посмотрел в окно на сиреневые сумерки. Это ощущение

умиротворенности было так ново для него, что он не смог спокойно насладиться им и, сгорая от любопытства, тотчас начал доискиваться до его причин и размышлять. Тут же в его душе зародились разные демоны и бесы, от душевного покоя не осталось и следа, и Эрнст вновь ощутил внутри сильнейший разлад. «Хоть бы раз в жизни найти в себе силы быть честным перед собой, — подумал он. — Ведь знаешь же, что все — иллюзия и обман, и тем не менее веришь...»

Он тупо уставился на адрес: Фройляйн Элизабет Хайндорф...

— Миньона, — мечтательно прошептал он. И чувство покоя сразу вернулось.

— Значит, это ты так действуешь на меня, — сказал он растроганно и поцеловал ее имя на конверте.

Эрнст представил себе любимый образ: вот она стоит у рояля в белом платье — тонкие черты лица, золотистые волосы, глубокие голубые глаза...

— Душа моя, — выдохнул он еле слышно, — ты — моя душа.

И мысли о ней роились в его голове, пока добрая матушка-ночь нежным крылом не смежила ему веки.

Последовавшие затем дни были заполнены напряженным трудом. Иногда заглядывал на огонек Ойген и рассказывал о своих похождениях. Он по уши влюбился в Ланну Райнер и мог говорить о ней часами.

— Подумать только, — сказал Ойген, — недавно она дала от ворот поворот одному графу. Этот достойный человек многочисленными корзинами цветов уже выразил ей свое восхищение и теперь позволил себе почтительно просить ее отужинать с ним. Она рассмеялась и согласилась, но с условием, что он пригласит и госпожу Мюллер, бедную статисточку из их труппы. Граф придумал тысячу отговорок, но она настаивала. В конце концов граф уступил — и статисточка в кои-то веки наелась до отвала. Однако граф был так раздосадован, что вскоре отступился.

Эрнст расхохотался, услышав этот рассказ. Однако хохот его получился каким-то странно прерывистым. Эрнст был гордецом. И его гордости импонировало поведение Ланны Райнер.

Как-то вечером Ойген явился к нему с известием, что знает, куда Райнер частенько выезжает одна: она посещает одну деревеньку недалеко от города, известное место пикников и загородных прогулок.

— Завтра мы с тобой тоже поедem туда, — решил Ойген.

Эрнст отказался.

— Будет по-моему, — подвел черту Ойген. — Завтра я за тобой заеду.

Ночью Эрнст никак не мог заснуть. В голове тихонько зудело: «Поезжай... Поезжай...» Но гордость его вставала на дыбы. Он решил не ехать и тотчас уснул.

На следующее утро Эрнст оделся самым тщательным образом. «В этом нет ничего особенного», — сказал он себе и стал насвистывать какую-то мелодию.

Явился Ойген, и они поехали за город, на природу. Долго колесили по сельским дорогам, так что Эрнст и думать забыл о Ланне Райнер. Вконец уставшие и голодные, они приехали в небольшую гостиницу, уселись на уютной террасе и залюбовались великолепным видом. Предвечернее солнце изливало легкий золотистый блеск на голубоватые горы и зеленые леса, отчего вершины светились кармином и золотом, словно предупреждая: скоро осень! Небо было уже по-осеннему прозрачным, воздух — чистым и все еще теплым. В честь праздника и для привлечения гостей хозяин нанял двух музыкантов, которые терзали рояль и скрипку, пытаясь извлечь из них трогательные мелодии. Эрнст заткнул уши.

В соседнем зале сдвигали столы, — видимо, собирались устроить вечер с танцами. Гости из города пребывали в превосходном настроении. Эрнст не переставал удивляться легкости и общительности, царившим в здешних местах, в отличие от Северной Германии. Там, если в кафе было не очень много посетителей, каждый занимал место за отдельным столиком, а здесь, когда он сидел один, к нему не раз подходили совершенно незнакомые люди и приветливо говорили: «Вы сидите так одиноко — не хотите ли пересесть к нам? Мы

найдем, о чем побеседовать». А оказавшись за чужим столиком, ты тут же втягиваешься в общую беседу без малейшего принуждения.

Вскоре терраса заполнилась приезжими, веселые шутки летали по воздуху из конца в конец.

— Погляди, вон она, — прошептал Ойген.

Ланна Райнер села в уголке террасы. Эрнст взглянул в ее сторону и невольно залился краской. Она не могла его видеть, так как сидела к нему в профиль. Музыканты как раз закончили наяривать очередной вальсок, когда к ним подошел пожилой господин и поговорил с ними. Они пожали плечами, однако порылись в хозяйской стопке нот и начали играть. То была увертюра к «Кармен». Они сразу же запутались и сбились.

При первых звуках этого музыкального варварства Эрнст вскочил и бросился к роялю. Оттолкнув в сторону пианиста, он стал играть. Рояль был вполне приличный и хорошо настроен. Все гости наострили уши. Певица, спокойно глядевшая в одну точку перед собой, вскинула голову.

После увертюры Эрнст приступил к вариациям на тему «Кармен», и сквозь каскад аккордов мало-помалу начала пробиваться мелодия «Хабанеры». Потом пассажи притушили ее, их сменило все заглушающее мощное крещендо, и вдруг совсем тихо, как бы крадучись, вновь зазвучала «Хабанера»: «Любовь свободой мир чарует...»

Играя, Эрнст ощутил на себе чей-то взгляд и, словно притянутый магнитом, заглянул в глаза Ланны Райнер. Та самая, едва заметная загадочная улыбка вновь промелькнула на ее губах.

Эрнст внезапно оборвал игру, упрямо вздернул подбородок и быстро зашагал к своему месту, не взглянув на певицу. Он злился на самого себя и на эту ее странную, будоражащую улыбку. «Не хочу и не буду», — упрямо твердил он самому себе. А Ланна Райнер только шире улыбнулась, глядя на это ребячество.

Пожилый господин подошел к Эрнсту, представился и пожал ему руку. Это был директор мюнхенского Музыкального театра. Он рассказал, что здесь проездом и вдруг вновь услышал звуки своей любимой оперы. Ему кажется, в этом чуть-чуть виновата местная исполнительница партии Кармен, с которой он знаком и которую ему довелось услышать.

Между тем один солидный саксонец заказал музыкантам медленный вальс и первым начал вальсировать со своей объемистой половиной. Эта пара вызвала бурный взрыв веселья среди молодежи. Спустя несколько мгновений все гости уже неслись по залу в вальсе. Эрнст и Ойген тоже прошли в зал и стали разглядывать лица танцующих. Директор мюнхенского театра направился к столику Ланны Райнер.

Танцевальные ритмы на всех оказывали свое действие.

— Эрнст, придется и нам потанцевать.

— Да, я как раз присматриваюсь. Думается, стоит пригласить вон ту прелестную букашку со светлым чубчиком и эту лилию в белых шелках...

Тут Эрнст почувствовал, как кто-то коснулся его плеча.

Рядом стоял директор театра.

— Разрешите еще немного побеспокоить вас? Фройляйн Райнер по моей просьбе согласилась на один бостон. Очень прошу вас сыграть еще раз! Вы меня очень обяжете.

Сперва Эрнст хотел отказаться — просто из духа противоречия. Но потом все же двинулся к роялю. Ойген успел шепнуть ему: «Внимание! Я сейчас оторву такой номер!»

Эрнст начал играть. В объятиях директора театра Ланна Райнер плыла по залу. Медленный бостон выявлял все достоинства ее великолепной фигуры. Тут Эрнст заметил и другую пару: Ойген скользил по залу со спутницей певицы. Он лукаво подмигнул Эрнсту: обещанный «номер» удался! Через некоторое время певица прервала танец и, проходя мимо Эрнста, слегка кивнула ему гордой головой.

Эрнст сразу же кончил играть. Он еще успел услышать, как директор театра сказал: «Я и мечтать не смел о том, чтобы в мои лета потанцевать с вами».

Вскоре к столику вернулся сияющий Ойген и рассказал:

— Моя тоже из Оперы. Будь начеку, нам с тобой начало везти!

Эрнст улыбнулся себе под нос. Когда музыканты заиграли вальс, он вдруг рассмеялся, вздернул подбородок, проронил: «Надо делать правильный выбор, Ойген!» — и, подойдя к Ланне Райнер, склонился перед ней.

Секунду она оторопело глядела на него. Потом продела руку под его локоть. Эрнст сам не верил, что у него получится. Теперь его гордость разыгралась, и он торжественно проследовал с певицей на середину зала.

Танцуя, она в упор рассматривала Эрнста. Ее черные глаза вблизи казались огромными и занимали, казалось, пол-лица. Странно терпкие духи певицы и близость красивой женщины вскружили Эрнсту голову. Время от времени он ощущал под рукой шуршащий шелк ее юбок. В эти секунды мороз пробежал у него по спине. Они танцевали молча. На красиво изогнутых губах певицы вновь играла та странная улыбка, которая так смущала Эрнста. Он решительно сжал зубы и посмотрел ей прямо в глаза. При этом невольно крепко сжал и ее руку. Тут она бросила на него загадочный, почти задумчивый взгляд. Он повел ее к столику, мучимый странно противоречивыми чувствами. А дойдя, внезапно склонился в низком поклоне и поцеловал ей обе руки.

Ойген ждал его, сгорая от нетерпения.

— Счастливчик! Рассказывай скорее! Что она сказала? Какая она? Ну, выкладывай же!

— Пойдем отсюда, — рассеянно ответил Эрнст. Ему казалось, что он все еще ощущает под рукой струящийся шелк ее платья.

Ночью Эрнст никак не мог уснуть. Все время маячили перед ним эти странные, манящие глаза. Он кусал подушки и бил их кулаками. Вopil: «Не хочу!» Вставал, брел к письменному столу и думал об Элизабет. Решал: «Напишу ей письмо!» — и принимался искать бумагу. Только и успевал написать «Миньона», как тут же рвал листок. Вытаскивал портрет Элизабет и упорно глядел на него. Ему казалось, что от портрета исходило ощущение покоя. Но потом Эрнст вновь видел ту самую загадочную улыбку — смесь греха, печали и жажды любви, — и весь его разум помрачался, перед глазами вздымалась красная волна, она захлестывала его и душила все намерения.

Он распахнул окно и высунулся наружу. Ночной воздух немного охладил его воспаленные глаза.

В темноте пролегли широкие полосы глубокой тени. Кое-где в окнах еще горел свет. Какая тоска... Какая бесконечная, безбрежная тоска! Эрнст протянул руки к дальним далям и простонал: «Покой... Покой... Когда же ты придешь?» И тут же рассмеялся над собой:

— Кто же это жаждет покоя в двадцать три года? Покой — вздор, надувательство, жалкая болтовня для юных чахоточных очкариков, пустые слова для узкогрудых домоседов! Мне нужна буря! Буря! Дайте мне бурю! Ночь, оглуши, заверти меня в грохоте и брызгах урагана, наполни мою грудь водоворотом и штормом, но вырви из нее этот лихорадочный стук, этот грохочущий молот, это изматывающее и перемалывающее копанье в собственном сердце! Дай мне холод и лед! О звезды, рубиновые глаза Бога, пришлите мне золотые сосуды с холодным светом! В долине светятся огоньки... Мерцают... Гаснут... Все имеет свою цель... Лишь я один бесцельно блуждаю в грохоте бури! Природа, дай мне свет и цель — и я успокоюсь.

«Ты!» — крикнул он в звездную ночь так громко, что насмешливое эхо тут же откликнулось: «Ты!»

Стихи полились из кончиков дрожащих пальцев, и Эрнст торопливо набросал поперек линеек нотной бумаги:

Скомканы простыни, смятое платье —
От одиночества гнев обуял!
Книги, страдания, женщины, счастье —
Все я имел и все потерял!
В холоде звездном, меж мраком и светом,

Бога ищу, жду последнюю весть —
Криком «Я есмь!» исхожу, а ответом —
Гулкий насмешливый голос: «Ты есть?»

«Да что же это такое? Меня пожирает огонь все소жжения. О, светочи Божьи! Вопль и тишина. Одиноко волнуются тяжкие воды... Шум... Рокот... Где-то глубоко-глубоко...»

Час благодати.

Обеими горстями Эрнст хватал воздух. Волны подступали все ближе! Сумеречные фигуры в тумане и дымке. Потоки голубого света. Огненные линии прочертили небо. Прозвучали низкие аккорды. Зазвенели колокола. Мозг его распирала стихи. Он схватил карандаш и нотную бумагу и стал писать, писать — не сознавая того, что делает. Вокруг него все звучало и пело, он едва успевал записывать. Так и сидел голый в самое глухое время ночи... А пурпурные одежды развевались, и короны сверкали. Он писал, писал...

И за всем этим виделся далекий и прекрасный, упоительно яркий рот, изогнутый в странной, загадочной улыбке, сотканной из греха, печали и жажды любви.

Написанное ночью Эрнст вручил своему профессору — преподавателю музыки. Он назвал это «Фантазией в красновато-серебристых тонах». Профессор просмотрел листки нотной бумаги и крепко пожал ему руку.

— Оставьте мне копию — я позабочусь об издателе для вас.

Эрнст радостно зашагал домой, с благодарностью думая о певице, косвенно подвигнувшей его на это сочинение.

Ойген ежедневно рассказывал что-нибудь новенькое о Ланне Райнер — чаще всего главной темой этих сообщений были капризы певицы. Ойген страстно завидовал своему другу, удостоившемуся чести танцевать с примадонной, и каждый день называл его глупцом за то, что Эрнст не воспользовался этим случаем.

В конце концов Эрнст и сам почти уверовал в собственную глупость.

Как-то утром Ойген забежал к нему и поведал, что Райнер отвергла предложение руки и сердца, сделанное богатейшим банкиром, обосновав свой отказ тем, что тот чересчур богат.

Эрнст пришел в шаловливое настроение. Он весело повязал на шею платок василькового цвета и заявил:

— Пойду прогуляюсь немного на природе. Разлягусь на газоне в парке и помечтаю, даже рискуя попасть в поле зрения стража закона, а уж он-то немедленно потребует уплатить штраф за нарушение правил. Пойдешь со мной?

— Боже мой, Эрнст, что это тебе вдруг вздумалось? Лучше пойдем в кафе. Там сейчас такие девочки!

— Даже подумать страшно! Зато как мило — нежиться на зеленой травке и смотреть, как по небу плывут облака.

— Экая скучища! Нет уж, пошли в кафе!

— Ничего не могу с собой поделать.

— Тогда до свидания! Вечером увидимся в Опере.

Эрнст прогулочной походкой направился к парку. Найдя укромное местечко, он лег на траву и предался мечтам.

Что подельывают сейчас его друзья в далеком Оснабрюке? Приобрел ли Фриц новых друзей? А Элизабет? Миньона... Его Миньона. Фрид и Паульхен... Как они далеко. Они дома...

Глаза его сами собой закрылись.

Над ним в ветвях дерева защебетал зяблик. Эрнст встрепенулся. Оказалось, он и в самом деле уснул. И как хорошо поспал! Но что это? Явь или все еще сон? Не она ли идет сюда? Да, это она — Ланна Райнер. Причем одна.

Он вскочил и вернулся на аллею. Певица уже заметила его. Эрнст был смущен — ситуация, что ни говори, необычная. Он не знал, что делать, и хотел было отступить, но

какая-то невидимая рука словно насильно тащила его вперед. Эрнст решил отдаться на волю случая и продолжал идти, пока не увидел вблизи ее лицо, ее взгляд. Ланна Райнер ласково глядела на него и улыбалась! В самом деле — улыбалась! Кровь хлынула ему в сердце, он быстро сделал несколько шагов, отделявших его от певицы, молча взял ее руку в свои и поцеловал. Когда Эрнст, зардевшись от волнения, поднял на нее глаза, Ланна Райнер ответила ему весьма дружеским взглядом и спросила тем глубоким голосом, которым он так часто восхищался в театре:

— Мечтали?

— Да. О молодости и о прощании с летом.

— Неужели вы это всерьез? О прощании...

— И прощание может быть прекрасным.

— Но болезненным.

— Порой боль тоже прекрасна.

Ока задумчиво взглянула на него:

— Мне кажется, будто кто-то другой говорит вашими устами.

Эрнст представился.

— Значит, вы любите страдания, господин Винтер?

— О нет, я люблю счастье! Светлое, прекрасное счастье! И я его добьюсь!

— Это вы хорошо сказали. — Она пристально заглянула ему в глаза. — Наконец-то я слышу слова, непохожие на декадентское нытье современной молодежи. Сдается мне, я откуда-то вас знаю.

— Однажды мне довелось танцевать с вами.

— Нет, еще раньше.

Эрнст улыбнулся:

— По Оснабрюку?

Ланна Райнер удивленно подняла брови: почему вдруг Оснабрюк?

— Я видел вас там. Мой друг поздоровался с вами.

Она вопросительно взглянула на него.

— Фриц Шрамм.

— Теперь вспомнила, — заторопилась певица, — ваш портрет висел у него в мастерской. Значит, вы его друг. Он много рассказывал о вас. Ваш друг — по-настоящему благородный человек. Вы его, наверное, очень любите?

— Я готов умереть за него.

Ланна внимательно посмотрела на Эрнста, его лицо сразу посерьезнело при этих словах. Она поверила, и ее как током пронзило мгновенное потрясение. Ведь этот юноша еще так молод!

— А он? — спросила певица.

— Он тоже — за меня.

У Эрнста пропала охота говорить, но он заставил себя вернуться к непринужденному тону беседы.

— Я часто слушал вас в Опере, сударыня. Это было прекрасно.

Ланна улыбнулась:

— До сих пор вроде все было в порядке. А вам не следовало бы делать мне комплименты. Предоставьте это лысым господам во фраках. Фриц Шрамм тоже не опускался до лести. Я любила бывать у него. Вы ведь студент, не правда ли? И занимаетесь музыкой, да? Чем именно?

— Композиция, дирижерское мастерство и рояль.

— Ага, значит, собираетесь стать капельмейстером?

— Еще не знаю. Если взбредет в голову, могу стать каменотесом или пастухом. Мне в общем-то безразлично, кем я стану. Главное, чтобы это приносило мне хоть какое-то удовлетворение.

— Хоть какое-то?

- Да. Потому что полного удовлетворения не приносит ничто.
— Ничто?
— Ничто! Всегда какой-то голос внутри зовет: «Иди дальше... дальше...»
— Но ведь есть же и вершины — высшие точки.
— Я пока не нашел ни одной. Кабы только знать — где они!
— Вы еще молоды...
— Я прошел уже много кругов. И нигде не нашел удовлетворения.
— Вероятно, умственного. Но разве все непременно должно быть разъедено разумом?
— А в чем же спасение? В чувстве?
— Да, в чувстве. — Ланна Райнер улыбнулась.
— Итак, высшая точка чувства — это...
— Это?..
— Любовь?

— Да.
— Любовь, — Эрнст скорчил насмешливую мину. — У меня есть приятель, который определяет любовь как смесь завышенного самомнения и оскорбленного или, наоборот, польщенного тщеславия.

— Подчас вокруг этого понятия и впрямь слишком много суеты, — сказала Ланна Райнер, горько скривив губы. — И тем не менее. Возьмите хотя бы сегодняшний день. Один человек — здоровый и жизнерадостный — скажет: «О, какой прекрасный день!» Другой — больной и изможденный — вздохнет: «О, это день таких страданий!» А ведь день-то один и тот же. Все зависит от того, как мы на него смотрим. И так всегда и во всем. Что сказал бы ваш приятель о настоящем чувстве?

Эрнст залился краской.

— О, простите! Я говорил вещи, противоречащие моим убеждениям. То есть у меня как бы два мнения. Одно я бы назвал фривольной поверхностью моей внешней натуры, другое — подлинной глубиной моей второй натуры, так сказать, моей пранатуры. А она говорит: «Любовь — это опьянение и молитва! Свет и благодать! Чудо на голубых высотах! Золотой Грааль! Всепримирение!»

Ланна Райнер слушала его с улыбкой.

— Таким вы мне нравитесь куда больше. Не надо вам подражать мнению большинства. Пресыщенность отвратительна. А теперь, если хотите, можете проводить меня до дома.

— Еще бы! Конечно, хочу!

Эрнст был в своей стихии. Робости как не бывало. Он представлял себе эту женщину совсем иначе. Теперь она беседовала с ним, как со старым знакомым. И даже сама высказала ту же самую мысль:

— Поскольку вы дружите с Фрицем Шраммом, вы уже стали для меня словно бы старым знакомым. Он один из немногих, кого я искренне уважаю, даже почитаю. Расскажите мне о нем.

Эрнст казался себе мальчишкой. Он шествовал рядом с красивой певицей, испытывая не только приятность, но и немалую гордость от того, как много людей желало поздороваться с ней. Он рассказывал ей о Фрице, о его Приюте Грез в мансарде, о цветах и свечах, о весне и юности.

Ланна слушала его с приветливой улыбкой.

— А что вы делаете здесь?

— Учусь и пишу музыку.

— Что именно?

— О, некоторое время назад я сочинил шесть новых песен на слова Фрица Шрамма. И мне так хочется, чтобы их кто-нибудь исполнил. Однако наши здешние исполнительницы — студентки — поют так неумело, что я, скорее всего, откажусь от этой идеи.

— Должна ли я это понимать как завуалированную просьбу?

— Это зависит от вашего желания, сударыня.

— Ай-яй-яй... Значит, это песни на слова Фрица Шрамма?

— Да... Но у меня их намного больше.

— Подумать только! Тогда приходите ко мне завтра в пять часов пополудни — к чаю. Будет еще несколько знакомых.

Эрнст посмотрел на нее, сияя от счастья.

Ланна с улыбкой протянула ему руку. Он низко склонился над ней и ушел в глубоком раздумье. «Вот, значит, какая она, красавица Ланна Райнер», — пробормотал Эрнст себе под нос.

Квартира Ланны Райнер, обставленная со всей роскошью и шиком, была верхом элегантности. В гостиной, выдержанной в персиковых тонах, неслышно двигалась горничная, сервируя чай.

Эрнст сидел напротив Райнер. На певиче было шелковое матово-желтое платье с длинными разлетающимися рукавами, которое ей очень шло и тонко подчеркивало темный цвет волос и глаз.

— Я пригласила вас чуть раньше, чем остальных, чтобы мы смогли немного побеседовать наедине, — сказала Ланна. — Вы принесли свои песни?

Эрнст молча протянул ей листки.

Она просмотрела их и спросила:

— Когда мы сможем попробовать исполнить их?

— В любое время.

— Ну, тогда, скажем, в пятницу, в пять часов пополудни. Но заодно порепетируем и другие песни, а также отрывки из опер, хорошо?

— Отлично! Следует ли понимать вас так, что вы хотите пригласить меня в аккомпаниаторы?

— Именно это я вам и предлагаю. У нас ужасный концертмейстер. А с вами мы сможем очень хорошо порепетировать. Но не отнимет ли это слишком много времени от ваших занятий?

— Так ведь при всем прочем я еще и многому научусь!

— Итак, мы с вами — друзья-товарищи по совместным занятиям. — Ланна Райнер с обворожительной улыбкой протянула ему руку. — Еще одно условие: быть честными. И безжалостно говорить друг другу правду!

— Этот меч направлен острием в мою сторону. Тут уж не отвертишься. Зато я буду учиться. Пусть будет так.

Горничная внесла на подносике две визитные карточки.

— Просите.

Вошли двое мужчин. Один, с моноклем, был тощ, долговяз и редковолос, второй — молод, но с резкими морщинами вокруг рта. Ланна представила их: граф Ниберг, лейтенант Харм.

Гости осведомились о здоровье Ланны и отпустили ей несколько комплиментов. Горничная вновь доложила о приходе гостей. Вошли две дамы и два господина.

— Ну что? — протрубила более осанистая из дам. — Они опять взялись за свое? Принялись осыпать вас лестью?

— К сожалению, — вздохнула Ланна.

— Это все обман. Ну да ничего — отныне начинается век женщин.

— Великолепно, — простонал лейтенант.

— Как это? Что великолепно? Что вы имеете в виду?

— А то: теперь мы поменяемся ролями. Отныне вы будете нас помогать.

— Ничего подобного. Женщина выходит из-под опеки.

— Что это означает?

— Прочь от мужа! — Голос дамы вновь обрел трубные обертоны.

Она энергично водрузила себе на нос пенсне. Граф так и покатился с хохоту:

— У нас будет страна амазонок!

— Рабство женщины должно прекратиться.
— Однако до сих пор рабыне жилось весьма неплохо.
— Дайте же мне договорить, граф. Женщина должна стать равноправной с мужчиной.
— Но это невозможно, — вырвалось вдруг у Эрнста. — Мужчина и женщина устроены по-разному. А законы, действительные для треугольника, не подойдут к кругу.
— Это различие надуманное. В чем же оно, по-вашему, состоит?
— Поступки женщины основываются на чувстве, а поступки мужчины — на разуме, — заявил граф.
— Мужчина может быть объективным, женщина — всегда субъективна, — отрезал лейтенант.
— Я тоже нахожу равноправие отвратительным, — вставил директор театра. — Каждому свое. Для меня политические агитаторши — ужас что такое. Уютная хозяйшка мне куда больше по сердцу.
— Вот именно! Вы жаждете вновь согнуть нас в три погибели под гнетом поварешки! — сердито воскликнула осанистая дама. — Ох уж эти тираны!
— Что вы скажете по столь трудному вопросу, господин Винтер? — спросила Ланна, с улыбкой выслушавшая всю эту перепалку.
— Говорят одно, а думают другое. Женщина должна оставаться женщиной.
— А вы, фройляйн Шрант?
— Не знаю... Я нахожу, что мужчины, несмотря на свои дурные свойства, все же очень милы.
— Bravo, bravo, — захлопал в ладоши лейтенант.
— А теперь, господа, сойдем с тропы войны и обратимся к более мирным темам.
— Да нет между нами никакой вражды, — засмеялся граф, — мы просто шутили.
— Прошу вас. Такая перепалка прямо-таки освежает.
— Итак — да здравствуют дамы!
Гости оживленно беседовали о том о сем, потом попросили Ланну спеть что-нибудь. Эрнст должен был аккомпанировать.
— Ну как? — спросила Ланна шепотом, когда они направились к роялю.
— Пустая говорильня, — также шепотом ответил Эрнст.
Ланна кивнула. Потом поставила на пюпитр ноты. Эрнста словно током ударило: так сладко и завораживающе звучало: «Любовь свободой мир чарует...»
Когда Эрнст шагал домой, он был совершенно спокоен. «Мы с ней — всего лишь друзья-товарищи», — думалось ему. Придя домой, он сразу же написал длинное письмо Фрицу и Элизабет и успокоился. «Друзья-товарищи...» Тем не менее во сне ему вновь привиделась та улыбка, сотканная из греха, печали и жажды любви. Она так влекла, так манила...

VII

Первые легкие тени сумерек проникли сквозь высокие окна мастерской. Фриц отложил в сторону кисть и палитру и внимательно посмотрел на сделанную работу. Потом прошел в мансарду, раскурил трубку и вынул из кармана последнее письмо Эрнста, в котором тот повествовал о своей встрече с Ланной Райнер. Фриц глубоко задумался. Достанет ли у Элизабет силы характера? Он был уверен, что Эрнст когда-нибудь вернется к ней. Но кровь у Эрнста горячая, да и темперамент не в меру бурный. Правда, сам-то он пока на месте и мог бы помочь.

Однако... Фриц озабоченно рассмотрел в зеркале свое лицо. Щеки опять заметно ввалились, кожа поражала бледностью. В последнее время он опять стал страдать от одышки, да и приступы сухого кашля начали вновь донимать его, а ночами — обильный пот. Фриц частенько желал умереть и совсем не боялся смерти. Но сейчас... Нет, сейчас он не хотел умирать. Ему необходимо дожить до следующей весны. Не столько ради себя — хотя

чудо весеннего пробуждения природы всякий раз и ему обновляло душу, — а ради «детей», как он их называл. Они все еще нуждаются в нем. Радостное благое чувство облекло его сердце: он по-прежнему бесполезен в этой жизни, он еще нужен людям.

В дверь постучали.

«Это Элизабет», — решил Фриц и крикнул:

— Входите!

Вошла молодая дама в черном шелковом платье с глубоким вырезом. Не слишком длинная юбка открывала узкие лодыжки и маленькие кокетливые ступни. Фриц не сразу вспомнил, кто эта дама. Потом наконец память подсказала: в тот самый день, когда приехал Эрнст... встреча в кафе...

— Добрый вечер, фройляйн Берген.

— Добрый вечер, — откликнулась она с некоторой робостью. — Ваш друг дал мне этот адрес...

— Да-да, я знаю. И очень рад, что вы зашли ко мне. У меня выдался свободный вечер, и я не знал, чем его заполнить. А тут вдруг такой приятный сюрприз! Пожалуйста, присядьте — вот на это кресло.

— О, как тут у вас красиво!

— Эрнст назвал мои покои Приютом Грез.

— Так оно и есть. Вы всегда живете здесь, да?

Фриц невольно улыбнулся столь наивному вопросу.

— Да, если не еду или не иду куда-либо.

— И никогда не живете в отеле или еще где-нибудь?

— Почти никогда.

— И вы совершенно свободны, ничем и никем не связаны?

— Да.

— О, как же вам хорошо!

— Так может жить любой.

Трикс Берген кокетливо покачала головой:

— Мужчина, конечно, может... Но мы-то, молодые девушки... — Она взяла финик из корзинки с фруктами, которую Фриц к ней подвинул, и стала грызть его мелкими белыми, как у мышки, зубами.

— Девушки тоже могут...

— Но не в одиночестве... — сказала Трикс Берген, покачав изящной ножкой и искоса бросив на Фрица кокетливый взгляд.

— Почему нет?

— Потому что им нужны мужчины... — Она звонко рассмеялась.

— Но ведь свобода не сводится к одной лишь экономической независимости. Главное все же — внутренняя свобода.

— Да я и имею в виду совсем другое. Я имею в виду — для наслаждения жизнью, для счастья.

— Это для вас одно и то же?

— Конечно!

— А что вы понимаете под наслаждением жизнью?

— Ну... Все делать вместе.

— И как можно дольше?

— Да.

— Тогда, выходит, я очень несчастен.

— Вы? — вырвалось у нее.

— Да, я. Но при этом я совсем не чувствую себя несчастным!

— Однако нельзя же закидать и тупеть.

— Это пустые фразы! На мой взгляд, о множестве людей, которые, по-вашему, относятся к числу наслаждающихся жизнью, скорее можно сказать, что они закисло и

отупели, в то время как другие действительно живут.

— И в чем же, вы полагаете, состоит ценность жизни?

— Жизнь бесценна. У нее нет цены. Сделайте ударение не на отрицании «нет», а на слове «цена». Жизнь есть жизнь. И мы, живущие, не можем ее оценить, поскольку мы — всего лишь ее частицы и ростки. Жизнь — это Бог. Мы должны стараться жить как можно соразмернее с нашей внутренней природой. Действительно ли мы живем полной жизнью или только влачим жалкое существование — кто знает? Никто. Именно потому, что мы не в состоянии оценить жизнь. Эрнст говорит: «Дерево живет всегда — потому что оно в любой момент полно ощущением жизни, — а человек лишь изредка». Другие утверждают: «Только человек живет по-настоящему». Почем знать, так ли это? Я полагаю, что жизнь — это внутренний процесс, а не внешнее облачение. Внутренние ценности, обретаемые мной благодаря моему образу жизни, имеют для меня значение мерила. А делая все вместе, внутренних ценностей обретишь немного. Обретишь изощренность, ловкость, короче, внешнюю сторону жизни. Это, конечно, тоже нужно, но внешность сама по себе пуста. Ей нужно внутреннее наполнение. Один человек, любуясь цветком или мошкой, может обрести больше, чем другой, объехавший весь Египет.

— Значит, вы считаете, что высшее счастье существует лишь в глухой дыре?

— Да, если вам угодно назвать это так! Существуют такие властные натуры, которым нужно испытать все — и бурю и штиль, — чтобы познать себя. Но ведь суть-то именно в этом: познать себя! Ветхозаветное: «Познай самого себя!» У женщин это уже почти норма, в то время как у мужчин все более индивидуально. У женщины путь к себе состоит в отказе от своего «я» — в переходе от Я к Ты. Внешне это выглядит, — конечно, не в том случае, когда мужчина переживает глубокую внутреннюю катастрофу, — как самоотверженная преданность любимому мужчине и стремление продолжить себя в ребенке.

— У всякой женщины?

— Почти.

— А как же остальное? Полностью проявить свои способности и делать все вместе?

— Это обман! Опьянение и ослепление! Истинная женщина испытывает отвращение и жалость при виде блеска нищеты, созданного продажной любовью. За шампанское и пеструю мишуру продажные женщины отдают свое тело — но не только его, а и наивысшую ценность: свое счастье! Прошу понять меня правильно. Я не брюзга и не святоша и сужу о счастье не с точки зрения закона или морали. Я — мужчина и сужу обо всем с мужской точки зрения! А с мужской точки зрения, счастье женщины — в любви! Следует ли глумиться над этим высоким и великолепным понятием и продавать его старым развалинам и похотливым козлам? Простите меня за грубость выражений, но я искренне желаю вам добра. Я могу, даже очень могу понять, когда девушка отдается по любви. Это вполне обычно и ни в коем случае не заслуживает осуждения! Могу даже понять, когда девушка отдается за шелковые чулки и деньги. Я говорю: могу понять! Но не одобрить! Ибо там, где любовь становится объектом купли-продажи, для меня кончается терпимость. Можно посочувствовать бедным. Они когда-нибудь — раньше или позже — прозреют. И поверьте мне на слово хотя бы в одном: самое страшное — это когда приходится сознаться самой себе: я загубила свою жизнь!

Фриц ужасно разгорячился, а Трикс Берген побелела как полотно.

— А если кто-то ошибся по легкомыслию и пошел по пути порока... — Она не договорила.

— Значит, та женщина загубила свою жизнь. И для нее единственный выход — не прозревать...

Трикс тяжело дышала.

— А если потом... она все же... прозреет?

Фриц глядел в одну точку перед собой.

— Это ужасно... Отчаяние...

Трикс вскочила и, не владея собой, закричала:

— И смерть! Смерть! В воду!

Она опрометью бросилась к двери.

— Стой! — крикнул Фриц и железной хваткой вцепился в ее запястье. — Стой!

Ноги у Трикс подкосились, и она безудержно зарыдала.

— Оставьте меня... Все напрасно... Все и вся...

— Нет! — твердо возразил Фриц, и глаза его сверкнули. — Еще ничего не потеряно! Всего еще можно добиться! Сейчас я скажу, каким путем!

Трикс лежала в кресле, захлебываясь слезами. За окном сгущались сумерки.

— Видите ли, — начал Фриц тихо и проникновенно, — это и есть самое поразительное в нас. Мы не в состоянии прожить какой-то миг нашей жизни повторно. И в то же время можем многое пережить заново. К примеру: мы можем скосить траву, но если корни не задеты косой, трава отрастет вновь. И если способность женского сердца любить не умерла, ничего еще не потеряно. Сердце сумеет стряхнуть с себя плохое, и все опять будет хорошо. Видите, вот тут у меня на стене написан мой девиз: «Все хорошо».

— Но не со мной, — жалобно выдохнула Трикс.

— Нет, и с вами тоже. Взгляните-ка на меня.

Она подняла на него глаза, полные слез.

— Вы очень тоскуете по утраченному?

Слезы вновь покатились градом, и Трикс смогла лишь кивнуть, захлебываясь рыданиями.

— Значит, в вас все это еще живо. Это и есть самое загадочное, самое чудесное в женщине: она может пройти по болоту, чуть не захлебнуться в тине — и оставить позади себя белое пространство без единого пятнышка. Она может быть грешницей и тем не менее — невинной и чистой.

Она — как птица Феникс: сама себя сжигает и омоложенная возрождается из пепла.

Трикс смиренно спросила:

— Неужели все еще можно изменить?

Фриц мягко ответил вопросом на вопрос:

— А вы этого очень хотите?

Она молитвенно сжала ладони и жарко выдохнула:

— Да!

— Тогда все в порядке! В вашей душе! А это — главное. Нужно лишь изменить внешние обстоятельства и привести их в соответствие с состоянием души. Прошу вас, расскажите мне все, чтобы я мог помочь вам и, может быть, что-то посоветовать.

Трикс кивнула и рассказала древнюю, как мир, историю, перемежая свой рассказ всхлипываниями.

Родом она была из весьма состоятельной семьи. Ее горячая кровь и жажда приключений столкнулись в родительском доме с непониманием и строгостью. На курорте она случайно познакомилась с богатым ловеласом, который открыл ей, что такое свет и вообще элегантная жизнь. Трикс уехала с ним, а родителям написала, чтобы они ее не разыскивали. Счастье было недолгим. Тому, кто, по ее понятиям, должен был на ней жениться, Трикс вскоре наскучила. Она пришла в отчаяние, но быстро смирилась с судьбой, поскольку нашлось много других претендентов. Так все и шло два года кряду.

— Я часто вспоминала свои девичьи мечты — при этом сердце у меня горестно сжималось и готово было выскочить из груди от боли. Тогда я начинала весело смеяться и пить, а потом шла на танцы. Так бы оно и продолжалось, не встретить я вас и Эрнста. Я увидела, что назад дороги нет. После разговора с вами я словно лишилась зеркала, ослеплявшего меня. Я не могла не прийти к вам.

— А как ваши родители?

Ее губы вновь дрогнули.

— Дайте мне их адрес.

— Вы хотите...

— Да.

— Ну что же, вот... — Трикс быстро набросала адрес на листке, вырванном из блокнота.

— А теперь давайте поговорим о другом.

— У вас здесь такой покой. Совсем иначе, чем везде. Отнюдь не элегантно, зато намного, намного прекраснее.

Она огляделась.

— Кто это? — спросила она, показывая на красивый портрет.

— Женщина, которую я очень любил.

— Любили?

— Она умерла.

Трикс робко взяла руку Фрица и тихонько погладила ее.

Он спросил:

— Вы хорошо знаете этот город?

— Нет, я лишь однажды была здесь, да и то всего несколько дней.

Фриц кивнул. Потом показал ей другие картины, дал почитать несколько книг и рассказал о своих молодых друзьях.

Прощаясь, Трикс робко спросила:

— А что я должна вам за это?..

Фриц улыбнулся:

— Вы должны привыкнуть к вашему новому окружению. Тогда не станете задавать такие вопросы. Поскорее заходите еще!

Она удивленно посмотрела на него:

— Как? Совсем ничего? — В ее глазах опять заблестели слезы. — Чем я заслужила столько доброты?

— Вам надо привыкнуть к тому, что некоторые вещи разумеются сами собой. Ведь мы же люди.

Когда Трикс ушла, Фриц некоторое время стоял в задумчивости. Потом взял мелок и написал на коричневой стене:

«Женщина, ты — вечная загадка!»

Поздно вечером к нему заглянула Элизабет. Заметив надпись на стене, она спросила:

— Дядя Фриц, что это значит?

— Вот, пришло в голову сегодня вечером...

Он рассказал ей о визите молодой гостьи. Элизабет была очень тронута.

— Трикс никого здесь не знает, — сказал Фриц, — и ее тоже не знает никто. Вот я и подумал, не захочешь ли ты немного позаботиться о ней? Ты спокойно можешь этим заняться — ее прошлое здесь никому не известно.

— Дядя Фриц, даже если бы... Я с радостью сделаю это...

— Так я и думал.

— Знаешь, мне как раз пришла на ум прекрасная мысль. У Трикс сейчас кризис, в таком состоянии не следует подолгу копаться в своей душе. Ей нужно заняться делом. Не физическим или механическим трудом — это только пригнуло бы ее еще больше. Нет, она должна начать радоваться. Когда мне грустно, я стараюсь сделать кому-нибудь приятное, сотворить какое-либо доброе дело. Глядя, как другой человек радуется, радуешься и сама. Лучше всего — когда можешь кому-то помочь. Это и есть та прекрасная мысль, о которой я хотела тебе рассказать. Дело в том, что я попросила тетушку пойти к начальнице детской клиники и спросить, нельзя ли мне бесплатно ухаживать за больными детьми в утренние часы или в другое время, как она решит. Тетушка выполнила мою просьбу, и начальница — она дружит с моей тетушкой — сказала: если это всерьез, а не просто так, для забавы, она будет рада видеть меня в больнице. Работы там хоть отбавляй. Я так счастлива! Подумай, дядя Фриц, все эти милые малютки — мальчишки, девчушки... Ухаживать за ними и заботиться... Ах, как это прекрасно — помогать другим! Вот пусть Трикс и пойдет со мной!

Я сразу же спрошу начальницу, она наверняка разрешит. Я просто скажу: это — моя приятельница.

— Очень своевременная мысль, — согласился Фриц. — Пожалуй, лучше и быть не может. Завтра утром я постараюсь известить Трикс.

— Сделай это, дядя Фриц.

— А ты... ты действительно хочешь ухаживать за больными?

— Да, мне нужно чем-нибудь заняться. Реально кому-то помогать. А теперь — почитай мне свои стихи.

Фриц достал папку и стал читать своим тихим, приглушенным голосом.

Стихи о прошлом.

VIII

Эрнст часто музицировал с Ланной Райнер. И она всегда держалась с ним товарищески. Он подолгу рассказывал ей о Фрице и его Приюте Грез. А когда однажды Эрнст вскользь упомянул Элизабет, Ланна сразу насторожилась и принялась задавать вопросы, но он ничего не ответил. Тут на ее устах опять появилась та странная непонятная улыбка. Ланна всей душой впитывала ясноглазую энергичную молодость Эрнста, в особенности потому, что он был так непохож на всех ее прочих знакомцев. Она любила в Эрнсте и юную строптивость, и ту таинственную сумрачность, которая выдавала в нем будущего талантливого музыканта.

В прекрасном настроении Эрнст прошелся по вечерним улицам и позвонил в дверь певицы. Она открыла сама.

— А, господин маэстро! У моей горничной выходной день, так что придется мне самой принимать гостей... Входите же!

Она пошла перед ним по анфиладе комнат. На ней было восхитительное платье, очень выгодно подчеркивавшее ее классические формы.

Рядом с музыкальной комнатой находилось небольшое уютное помещение, которое Ланна называла вечерним будуаром певицы.

— Вам разрешается войти вместе со мной в мой будуар, — сказала она, потом вынула из букета, который принес Эрнст, одну темно-красную розу и прикрепила ее к волосам.

При этом широкие рукава платья откинулись и обнажили мягкую округлость предплечий цвета слоновой кости.

— А теперь пожалуйста сюда, на эту тахту... Вот так, тут есть подушки... — Она сама разлила чай по чашкам, подала сахарницу и положила на тарелочку печенье. Когда она опустилась на тахту рядом с ним, Эрнст даже задохнулся от запаха упоительно пряных духов. Он опьянел от счастья, и все окружающее показалось ему сном.

— У вас опять отсутствующий вид, господин Винтер.

— Не отсутствующий, а опустошенный.

— Почему же?

— Все, что я вижу, рушится на моих глазах. Я ищу цель и опору, а нахожу обман или лицемерие.

— Не надо так много размышлять.

— Да я и не хочу.

— Ну-ка, посмотрите мне в глаза...

Он вперил свои холодные голубовато-серые глаза в ее бездонные черные очи.

— Вот теперь обман из ваших глаз улетучился...

Эрнст сидел бы так целую вечность. Он не сводил глаз с изящных рук Ланны, заботливо летавших над столом, и упивался ароматом ее удивительных духов. Закатное солнце с трудом пробивалось сквозь плотные занавеси на окнах и наполняло комнату розовато-багровым светом.

Эрнст провел по глазам ладонью. Он позабыл прошлое и будущее. Вдруг Ланна Райнер

сказала своим звучным голосом:

— А теперь давайте посумерничаем.

Медленными, грациозными движениями она убрала со стола. Эрнст восхищенно следил за прекрасным созданием, окутанным мягким золотистым светом заката.

— Я очень люблю посидеть вот так, в сумерках. Все краски и формы столь нежны, столь расплывчаты... Сумерки навевают такие красивые мечты...

— К чему мечты, сударыня?..

Она взглянула на него из-под полуприкрытых век.

— Мечты нужны лишь слабым людям. Поступки и опыт — это все! И тем не менее мечты... — Эрнст запнулся, как бы задумавшись о чем-то. — Впрочем, мечтать — это так приятно...

Она вдруг запела своим волшебным голосом начало вагнеровского наброска к «Тристану и Изольде»: «Скажи, какие чудные мечты...» Эрнст тихонько подошел к роялю и подыграл ей. Продолжая петь вполголоса, Ланна последовала за ним и поставила ноты на пюпитр. При этом ее рукав коснулся лба Эрнста. Сладкий озноб пронзил все его существо и дрожащим напевом остался в крови. Бесконечной тоской отзывались и сердце полнозвучные септ- и нонаккорды на фоне печальной мелодии томления: «Мечты, мечты... Те, что в добрый час...» И еще раз: «Мечты...» И, затихая: «Мечты...» — эхом откликнулся рояль.

Эрнст оторвал руки от клавиатуры, они бессильно повисли вдоль тела. Ланна Райнер стояла перед ним и смотрела на Эрнста загадочным взглядом.

— Только мечты и значат в жизни, а действительность сера и безрадостна...

— Нет, мечта — это мечта...

— А жизнь — это Эрнст Винтер, — произнес голос из сумерек.

— А чудо — это Ланна Райнер...

Пламенеющий закатный луч золотой короной лег на лоб Эрнста.

— Верите ли вы в чудо, Эрнст Винтер?

— Да, Ланна Райнер.

Ее красивые яркие губы дрожали, когда она едва слышно спросила:

— Не хотите ли научить меня этому?

— Но ведь я просто в него верю, — почти машинально ответил Эрнст, глядя куда-то вдаль.

— Разве вера никогда не обманывает, Эрнст Винтер?

— Никогда, Ланна Райнер.

Сумерки сплетали из их голосов серебряную ленту над розовыми мечтами.

— Я жажду чуда, Эрнст Винтер, — мечтательно сказала красивая женщина у рояля.

— А у меня... чудо... уже есть, — едва слышно, запинаясь прошептал Эрнст и без сил опустился перед Ланной на пол.

Она долгим взглядом посмотрела на Эрнста и легко коснулась его лба своей узкой рукой.

— Это все сумерки... — выдохнула Ланна и медленно направилась к одному из кресел.

Эрнст поднялся, посмотрел на нее отсутствующим взглядом невероятно расширенных глаз. Она сидела в последнем закатном золоте, сквозь которое уже проглядывали сиреневые краски вечера.

Эрнст сдася. Он подошел к Ланне и спрятал голову в подоле ее платья.

Она погладила его по волосам.

Эрнст взглянул на нее. Его лицо было мертвенно-бледным, а глаза от волнения совсем потемнели.

— Малыш, — тихо сказала она и поцеловала его в глаза — Мои милые вопрошающие глаза... И страстные губы... Малыш мой...

Ночью Эрнст спал крепко и без снов. На следующее утро все казалось ему уже каким-то безумным сновидением, посетившим его до первых петухов. И настроение было странное — полугрустное, полублаженное. Эрнст принялся за работу, чтобы отогнать ненужные

мысли. Ланна Райнер казалась ему такой далекой, такой чужой. Он уже почти и не помнил о ней. Он думал об Элизабет и чувствовал, что она близка ему и что он очень ее любит. К вечеру вчерашнее событие виделось ему уже по-другому. Сердце Эрнста исполнилось тревожным ожиданием. Он то и дело вынимал из портмоне билет в ложу, подаренный Ланной, дабы удостовериться в реальности произошедшего.

Он старательно привел себя в порядок и медленно двинулся по направлению к театру. На афишном столбе Эрнст увидел свежую афишу Оперы. Он остановился и прочитал: «Мадам Баттерфлай — Ланна Райнер». Многие останавливались и тоже читали, а какой-то господин сказал:

— Райнер поет партию Баттерфлай, значит, нам надо поторопиться с билетами, не то их не будет.

— А что, она и впрямь хорошая певица? — спросил его спутник, когда оба уже удалялись.

— Замечательная! — успел услышать Эрнст. И на его губах заиграла горделивая улыбка. Ланна Райнер... Вчера вечером она его поцеловала. Он останавливался у каждого афишного столба, читал: «Мадам Баттерфлай — Ланна Райнер» — и был счастлив.

Когда он вошел в ложу, звонки уже прозвучали. Томная музыка Пуччини сразу очаровала его, и чары исчезли, лишь когда на сцене появилась мадам Баттерфлай.

Горячая волна радости захлестнула Эрнста. При каждом звуке, каждой ноте он думал: «Моя Ланна — поет для меня!» А вот и она его заметила... Легкий кивок...

У Эрнста голова закружилась от счастья. Когда с балконов и галерки грянул гром аплодисментов, от гордого сознания власти над певицей его кровь забурлила, словно крепкое шипучее вино.

С презрительной улыбкой Эрнст смотрел на цветы и венки, завалившие авансцену. «Эх вы, неумехи, — думал он, — старайтесь не старайтесь, все равно я — ее Малыш!»

Теперь Эрнст каждый вечер ходил в Оперу. Ланна ввела его в различные компании и салоны высшего света, и Винтера стали часто приглашать.

Так шло время — если не с Ланной и не за работой, то в хождении по гостям.

Как-то холодным осенним вечером Эрнст провожал Ланну из театра. В тот раз давали «Богему», и он был еще под впечатлением этой оперы. Эрнст помог Ланне сесть в машину, и они поехали — тесно прижавшись друг к другу и не говоря ни слова. В тот вечер Ланна была очень нежна. Когда машина остановилась перед ее домом, она тихонько промолвила:

— Пойдем со мной.

Эрнст поднялся вместе с ней по лестнице.

— Я отпустила горничную на сегодняшнюю ночь, — прошептала Ланна, отпирая дверь, — ее матушка заболела.

В таинственной атмосфере полутемной лестницы его кровь вскипела, а сердце — бешено забилося. Когда Ланна наклонилась к замочной скважине, Эрнст в порыве внезапной страсти поцеловал ее в ушко. Ланна резко выпрямилась и бросила на него странно мерцающий взгляд.

— Ты что? — прошептала она почти угрожающим тоном.

В будуаре Ланна зажгла затененный батиком торшер и скрылась в спальне, чтобы переодеться. Дверь она оставила приоткрытой и мило болтала с Эрнстом. Эта щель, сквозь которую падал рубиновый свет из спальни, притягивала Эрнста с магической силой. Кровь его кипела, все органы чувств захлестывало бушующее море. Но он сжал кулаки, сжал зубы и судорожно улыбнулся.

— А вот и я, Малыш. Надеюсь, ты извинишь, я оделась по-домашнему, так мне уютнее...

И опять оставила дверь спальни приоткрытой. Свет там продолжал гореть, и сквозь щель был виден край белоснежной постели, заваленной дамским бельем.

На Ланне теперь был просторный пурпурный халат, подчеркивавший изумительную бледность ее лица цвета слоновой кости. Черные кудри она убрала в пышный греческий узел

на затылке, скрепленный узеньким блестящим ободком. Запахнув халат, Ланна медленно двинулась к Эрнсту, задумчиво улыбаясь.

Для Эрнста время и место давно исчезли — где-то далеко-далеко кипела шумная жизнь. Там одни мечты и обман, а действительность только здесь — эти мягкие подушки и пуфы, эта освещенная матовым светом комната и эта сказочная красавица перед ним с такой странной улыбкой. Такой странной...

— Малыш мой, — тихо, маняще.

— Ланна... Несравненная... Любовь моя...

— Малыш, — еще тише, словно звук арфы летней ночью.

— Милая моя... Чернокудрая...

— Малыш... Я люблю тебя... — скорее выдохнула, чем прошептала она, слегка склонившись к нему.

— О мой факел и блуждающий огонек! Светящийся прибой моей души, целиком принадлежащей тебе! Я лежу у твоих ног с дрожащим сердцем, с рыдающей от пламенного блаженства душой, о пожар и упоение моей любовной тоски! Под чарами твоих жгучих очей кровь моя поет тебе страстные гимны... Ты... Ты...

Он зарылся лицом в мягкую пурпурную ткань.

Она тихонько запела:

— Любовь свободой мир чарует...

И продолжила вплоть до милых обезоруживающих слов:

— Так берегись любви моей...

Эрнст вскочил, прижал Ланну к себе и принялся целовать — глаза, щеки, лоб, яркие губы, мерцающую белизмой шею, жемчужные плечи, — ее голова запрокинулась, и на губах заиграла обольстительная улыбка. Эрнст едва не задохнулся от счастья, глаза ослепила и опьянила светящаяся белизна ее плеч, Ланна протянула к нему свои прекрасные обнаженные руки, со сдавленным стоном обняла его и шепнула:

— Малыш, мой Малыш, душа моего сердца, любимый, золотой мой...

Узел на ее голове распался, и волосы потоком хлынули по его руке. Эрнст прижался к ним лицом и снова принялся целовать Ланну, пока она не пришла в экстаз. Приоткрыв рот и уже не сдерживая странного огня в жаждущих глазах, она тянулась к его губам и, смежив веки, упивалась поцелуями, все более страстными и жгучими, — пока со вздохом не выскользнула из его объятий и не опустилась на шкуру белого медведя, покрывавшую тахту.

Эрнст весь горел и пылал, его мысли путались, он казался себе одновременно и Богом и королем, бесконечность разбивалась о его тело, небеса разверзались, тысячи факелов освещали путь, миры уместались в ладонях, его взгляд обдал жаром лицо Ланны, словно раскаленная лава Везувия.

Пурпурный халат распахнулся, обнажив мягкие очертания груди, прятанных в белой кипени душистого белья. Стройные ноги в шелковых чулках вынырнули из-под дивных волн кружев, нависавших над округлыми коленями.

Словно пеленой застлало взор Эрнста, и сквозь красную дымку он увидел ту странно-обольстительную улыбку, что всегда так манила его, — улыбку, сотканную из греха, печали и жажды любви. Смутно, как будто сквозь шум прибоя, он услышал:

— Иди ко мне!

В ушах Эрнста раздался оглушительный всепобеждающий гром, он, ликуя, бросился к Ланне и понес ее на руках к ожидающим их подушкам.

IX

Фриц опять стоял перед зеркалом — «Ну-ка, зеркальце, скажи...» Он стал чаще кашлять, да и ночной пот мучил его пуще прежнего. Тем не менее, несмотря на приближающуюся зиму, он решил поехать в Росток к родителям Трикс. Фриц написал им письмо и даже успел получить ответ. Старик Берген вежливо и сдержанно сообщал, что

через несколько недель сам придет в Оснабрюк и сможет устроить все, что потребуется для Трикс. Но Фрица это не удовлетворило. Он не хотел, чтобы Трикс получила поддержку извне — в этом случае она вновь рисковала сбиться с правильного пути. Поэтому Фриц решил сам поехать в Росток и взять дело в свои руки. Туманным ноябрьским утром он уехал, еще раз сердечно пожелав Трикс держаться стойко и мужественно.

Элизабет и Трикс подружились. Со свойственной ей легкостью Трикс быстро сошлась с Элизабет, а та своей деликатностью только облегчила эту задачу.

Элизабет была очень занята. Она целыми днями работала в детской больнице, и обе они, Элизабет и Трикс, были настоящей опорой и радостью для начальницы. Спокойная доброта Элизабет делала ее в глазах детей Святой Девой, и все они привязались к «сестричке Элизабет» с трогательной любовью и почтительностью.

В последние месяцы Элизабет сильно переменилась. Ее наивная ребячливость превратилась в мягкую женственность. Фриц как-то сказал о ней: «Она идет своей дорогой так уверенно, будто могла бы пройти по ней и с закрытыми глазами».

Фрид и Паульхен все еще пребывали в стадии взаимного подтрунивания. Во Фриде зародилась некая склонность к Элизабет. Но он не знал, где ключ к ее сердцу, и не пытался его найти. Они были во многом слишком похожи друг на друга. Элизабет была для него как сестра. Глаза Паульхен иногда выдавали растерянность. И она частенько подолгу стояла перед портретом Эрнста, все еще висевшим в мастерской. Первые муки молодости...

Фриц видел все это и однажды вечером долго беседовал с Паульхен, а потом и с Фридом. Так его доброта помогла им справиться с первыми проявлениями жестокости жизни.

Через несколько дней Фриц вернулся. Задыхаясь от нетерпения, Трикс прибежала к нему под вечер.

— Дядя Фриц... — Она глядела на него расширенными от страха глазами.

— Все хорошо, Трикс.

Она ответила беззвучным потоком слез.

— Не плакать, Трикс.

— А я и не плачу — это от радости. Наконец-то, наконец-то я вновь обрела почву под ногами...

Спустя время ее волнение немного улеглось.

— Расскажи мне обо всем, дядя Фриц... Как у нас дома... Как тебя приняли... Как здоровье матушки?

— Она очень постарела, дитя мое. Передает тебе привет и просит как можно скорее приехать к ней.

— Неужели это правда... дядя Фриц? — вскинулась она.

— Да, дитя мое, это правда.

— О, матушка...

И еще раз, с невыразимой тоской:

— Матушка, добрая моя... А я... я...

У Фрица на глаза навернулись слезы.

— Дядя Фриц, это может только мать...

— Да, мать... Мать — это самое трогательное из всего, что есть на земле. Мать — это значит: прощать и приносить себя в жертву.

— А как отец?

— Поначалу он держался холодно и не очень меня расспрашивал. Наверное, то была маска, надетая передо мной, чужим человеком, — а может, и перед самим собой. Он сказал, что отверг тебя и решения своего не изменит. Я напомнил ему слова Христа, сказанные Петру в ответ на его вопрос: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» — «Не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз». Отец был непоколебим — или, вернее, только казался таким. Тогда я заговорил с ним о его собственной вине. А вина его в том, что он не дал себе труда понять тебя, судил о тебе лишь

со своей точки зрения и тем самым собственными руками отдал тебя в объятия соблазнителя. Недостаточно просто любить своих детей, нужно еще и проявлять свою любовь к ним. Дети — это нежные цветы, им нужен свет, и если они его не получают, их головки быстро вянут и клонятся к земле. Я спросил его, разве он хочет теперь, когда есть возможность загладить вину и наверстать упущенное, вновь навлечь на себя заслуженное обвинение и бросить тебя в беде. И еще много всего наговорил. Это повергло его в уныние. Я не унимался, даже когда он хотел уже вспылить, и наконец он сдался. Но тут у него зародились новые опасения. Мол, твоя репутация может повредить сестрам. Я его успокоил, сказав, что никто ничего не знает, а ты осталась, в сущности, по-прежнему чистой и доброй душой. В конце концов отец уступил. «Скажите ей, — молвил он, — этих двух лет как не бывало». А твои сестры радуются, что их сестрица, так долго жившая в пансионе, скоро вернется домой. В Росток люди думают, что ты была в пансионе, — и пусть себе так думают. Посторонним этого достаточно.

— Дядя Фриц... Дорогой, добрый дядя Фриц...

— Видишь, Трикс, все теперь устроилось, и вскоре ты окажешься в объятиях родителей.

— Ах, дядя Фриц, но ведь тогда мне придется расстаться с тобой!

— Да, дитя мое...

— Как мне жить без тебя...

— У тебя есть матушка.

— Матушка... — Ее лицо просветлело. — И все-таки, дядя Фриц...

Она попыталась поцеловать его руку. Он быстро отдернул ее. Большая слеза упала на его кисть.

— В понедельник твой отъезд, Трикс. А в воскресенье мы все соберемся, чтобы попрощаться с тобой.

— Да...

Она еще долго стояла, молча глядя на него. Потом ушла. Фриц зажег лампу. Ноябрьский туман клубился за окном. На небе ни звездочки. Но лампа разливала вокруг себя золотистый покой.

Позднее к нему пришла и Элизабет.

— Я так рада, дядя Фриц, что ты вернулся.

— И я рад, что опять дома.

— Чего ты добился?

— В понедельник Трикс возвращается к родителям.

Она кивнула:

— Я была почти уверена, что так и будет. Кроме тебя, никто не смог бы сделать это. А я очень к ней привязалась.

— Как дела у твоих маленьких подопечных?

— Они растут. Сегодня я стояла у кровати одного тяжелобольного ребенка — бедняга парализован — и кормила его с ложечки. Вдруг он задержал мою руку и очень торжественно сказал: «Тетя Лиза, ты должна стать моей мамой». Мне пришлось пообещать это. Жить ему осталось недолго. Сухотка. Его мать не могла как следует заботиться о мальчике. У нее их еще шестеро, и надо добывать хлеб насущный. Теперь он перенес свою любовь на меня. Я бы посоветовала любому, кто хочет забыться или успокоиться, начать ухаживать за больными.

— Да, это многое заменяет.

— И утешает. Ибо самоотречение нелегко дается.

— Самоотречение вовсе не обязательно, Элизабет.

Она грустно взглянула на него.

— Возможно, это всего лишь неизбежное в таких случаях заблуждение. Или иллюзия... Все будет хорошо.

— Ты так думаешь, дядя Фриц?

— Да, Элизабет.

Слезы градом хлынули из ее глаз.

— Кому никогда не доводилось жить вдалеке от родины, Элизабет, тот не знает, какова ее магическая сила, и не умеет ценить ее. Это познаешь только на чужбине. На чужбине родина не становится чужой, наоборот, ее начинаешь любить еще крепче.

— Но я его так люблю...

— Он вернется к тебе. Любовь — это жертвенность. Часто и эгоизм называют любовью. Только тот, кто по доброй воле может отказаться от любимого ради его счастья, действительно любит всей душой.

— Этого я не могу. Тогда мне пришлось бы отказаться от самой себя.

— А если он из-за этого будет несчастлив?

— Не... счаст... лив... — голос ее дрожал. — Нет, этого я не хочу... Тогда уж лучше откажусь... — Она уткнулась лицом в подлокотник кресла. — Но это так тяжело... так тяжело...

— А тебе и не надо этого делать, — тихо сказал Фриц. — Он — твой, и ты — его. Я это знаю. И ты знаешь, что принадлежишь ему. А он, пожалуй, еще не знает, что принадлежит тебе. Но поверь: это так. В глубине души он твой.

Элизабет взглянула на него полными слез глазами.

— Дитя мое, ты — словно редкий цветок. Он открывает головку навстречу солнцу лишь однажды и больше никогда. Так и твое сердце — лишь один раз открылось навстречу любви — и больше никогда не откроется.

— То же самое было с моей мамой. Я могу полюбить лишь одного человека в жизни. Мое сердце принадлежит ему навсегда и навеки...

— Да, Элизабет... А Эрнст?

— Я люблю его.

Воцарилось молчание. Отблески света лампы золотыми пятнами лежали на светлых волосах Элизабет.

— Миньона — раздумчиво произнес Фриц. — Элизабет, ты ведь знаешь, что жизнь идет странными путями. День сменяется ночью, ночь сменяется днем — так и у Эрнста.

— Он очень редко пишет...

— Хватит ли у тебя сил услышать правду?

Она кивнула.

— Одна певица, время от времени гастролировавшая в нашем городе, теперь тоже живет в Лейпциге.

— И он... ее любит?

— Иначе... Не так... Любит он только тебя. Он поддался ее чарам. Он прислал мне письмо, в котором рассказывает о многом. Вот это письмо, я даю его тебе.

Она прочитала.

— Я так и думала.

— Я дал тебе это письмо не для того, чтобы сделать тебе больно, а чтобы показать: там происходит нечто совсем другое. У него брожение чувственности, которое когда-нибудь случается с каждым юношей. У Эрнста, насмешливого и неистового человека с бойцовскими качествами, оно было возможно только в этой наиболее заманчивой форме, замешанной на тщеславии. Он еще пробудится от этих чар и задним числом не сможет себя понять. Но пробудиться он должен сам. Иначе останется незаживающая рана. Не следует пороть горячку. Умеешь ли ты ждать, Элизабет?

— Умею.

— Смотри — если бы ты сейчас сочла себя оскорбленной и решила от него отвернуться, в этом сыграли бы свою роль и предрассудки, и задетое самолюбие, и общепринятые обычаи. Давай предоставим этот вид любви тем людям, которые и в любви превыше всего ценят красивую позу. Нет, сейчас ты ему нужнее, чем когда-либо. Ты покинешь его?

— Нет, дядя Фриц.

— Вот теперь ты знаешь все. Тебе очень больно?

— Не могу понять.

— А чувствуешь тем не менее, что все осталось по-прежнему? Ты знаешь фаустовский характер Эрнста — его борьбу с самим собой. Это его заблуждение — лишь поиск забвения, лишь выражение этой его борьбы. А вернее — это вовсе не заблуждение, а нормальный для него способ забыться. Как бы выход наружу его внутренней борьбы. Он не успокоится, пока вновь не найдет своего пути. Пути — к тебе. Ты веришь в это?

— Теперь снова верю. Да и раньше знала. Но я была так подавлена. А теперь опять все в порядке.

— Спокойной ночи, Элизабет.

— Спокойной ночи, дядя Фриц.

Он посветил ей на темной лестнице.

— Опять стало рано смеркаться, — сказал Фриц.

В духовке шипели на сковороде яблоки. Их аромат наполнял мансарду уютом. Все сидели перед печкой, мечтательно уставясь на пляшущие язычки пламени, зыбкие красноватые отсветы которого пробегали по полу и стенам. Но вот зажженная лампа осветила их бледные лица.

— В последний раз я здесь, в Приюте Грез, — выдавила Трикс дрожащими губами. — Никак не могу в это поверить. Элизабет, сохранишь ли ты обо мне добрую память?

— Что ты такое говоришь, Трикс! Скоро ты опять к нам приедешь. На Рождество... Или на Пасху...

— О да, непременно, иначе я просто не выдержу.

Вошел Фриц с печеными яблоками:

— А вот и яблоки, дети мои. Осенью и зимой я буду каждый вечер угощать вас печеными яблоками. Я так люблю слушать их фыркание, когда они сидят в духовке. Эти звуки наполняют душу уютом и миром.

— Как и все у тебя, дядя Фриц, — ввернула Трикс.

— Но любой мир ничего не стоит, если нет мира в сердце.

— Это верно, Фрид. Но он достигается только через мир с самим собой. А путь к нему — поиск своего места в жизни. Одним он дается легче, другим труднее. Из нас труднее всех Эрнсту. Но он искренен перед самим собой и, значит, стоит на верном пути.

— Это так трудно, дядя Фриц. Я всегда считала, что перед собой еще куда ни шло — можно быть искренней, а вот перед другими — никогда. И теперь поняла, что перед собой еще труднее, — прошептала Паульхен.

— Ты опять за свое, — поддразнил ее Фрид.

— Конечно.

— Ну, тебе-то ничего не стоит быть искренней.

— Почему это?

— Потому что ты у нас пока еще очень юное и легкомысленное создание и вовсе не имеешь никаких задатков к искренности.

— Дядя Фриц, сейчас же выставь его за дверь!

— Прошу прощения, — промямлил Фрид.

— Нет-нет, вон отсюда!

— Ну, смени гнев на милость, Паульхен.

Она подумала.

— Тогда скажи: «Я противный и отвратительный».

— Я противный и отвратительный...

— Он просто испугался, а вовсе не исправился. Дядя Фриц, печеные яблоки с печеньем — в самом деле пальчики оближешь. Откуда у тебя такое вкусное печенье?

— Это забавная история. Прихожу я в лавку булочника и вежливо прошу мое любимое печенье. А смазливая продавщица говорит: «Сожалею, сударь, но мы его только что

продали». — «Ах, Боже мой, фройляйн, умоляю, поищите, может, найдется хоть немного». Она улыбнулась: «Немного у нас еще есть, конечно. Но мы оставили его для нас самих». — «Понимаете, фройляйн, у меня нынче крестины, а угостить абсолютно нечем». Она залилась краской и подала мне целый пакет печенья.

Все рассмеялись. Трикс тоже улыбнулась, но как-то очень грустно.

— Дядя Фриц, а теперь прочти нам какое-нибудь стихотворение.

ВЕЧЕР

Тишина — покров желанный —
Нежной лаской душу греет.
Не боюсь земных страданий!
Ведь с небес покоем веет.
В тишине излился свет,
Лунный свет на наши очи.
И усталая душа
Пить блаженной влаги просит.
Слабый отсвет фонарей
Тихо гладит руки наши
И с вечернею зарей
Жар полдневный прочь уносит.
Благость сладостных минут
Осеньет нас крылами,
И земных грехов приют
В грезах сладких исчезает.

Было так приятно в коричневато-золотистой комнате. В углах гнездились смутные тени, теплый свет лампы падал на руки и лица сидящих.

Трикс сняла со стены лютню и протянула ее Элизабет.

— Спой, пожалуйста. Ведь завтра меня уже здесь не будет — попросила она.

Элизабет взяла лютню и запела своим серебристым голосом:

Завтра в путь отправлюсь я,
Время распрощаться —
Драгоценная моя,
Грустно расставаться.
Я люблю тебя, и мне
Оттого грустней вдвойне,
Утаю кручину
И тебя покину¹⁰.

В комнате воцарилась тишина. Трикс неотрывно смотрела на Элизабет. Тонкая червонная линия очерчивала профиль певицы, а волосы отливали старым золотом, она, слегка наклонясь вперед, пела:

Счастье нас с тобой свело,
Разлучило горе.
Ах, как это тяжело,
Ты узнаешь вскоре.
Разлучаются сердца,

¹⁰ Известный автор. Пер. В. Летучего.

И печали нет конца
Для сердец влюбленных,
Вдруг разьединенных¹¹.

У Трикс из глаз закапали крупные слезы.

Не грусти и слез не лей,
Друга вспоминая,
Навсегда в душе моей
Сберегу тебя я.
Слышишь песню — это твой
Вестник вьется над тобой.
Прилетел с рассветом
Он к тебе с приветом¹².

Все были растроганы.

— Давайте прощаться, — хрипло сказал Фрид.

— Пусть Трикс еще немного побудет со мной, — возразил Фриц.

Элизабет поцеловала Трикс:

— Завтра утром я приду на вокзал.

Потом Трикс и Фриц остались одни.

Фриц молча погасил лампу и зажег свечи перед портретом Лу. Потом взял три бокала, наполнил их, поставил один среди цветов перед портретом, второй — перед Трикс, а третий взял себе. Девушка подняла на него заплаканные глаза.

— Теперь ты отправляешься в новую для тебя страну, Трикс. В такие минуты надежду всегда сопровождает страх. Если у тебя будет тяжело на душе, пусть воспоминание о нашем Приюте Грез утешит тебя и подарит прекрасный букет цветов. Ни в чем больше не раскаивайся. Теперь у тебя впереди свой путь. Иди по нему смело. Не робей и не мучай себя бесплодным раскаянием. Раскаяние только мешает. Оно подтачивает душу. Смотри на прекрасный свет впереди и не оглядывайся назад. Эти свечи, горящие перед портретом Лу, — символ твоего прощания с Приютом Грез. Унеси ее портрет в своем сердце. Эта женщина умела любить. И любила очень сильно. Пусть она будет твоим светочем... Ты должна научиться этому — дарить любовь... В любви заключается загадка женщины и ее разгадка... Ее первооснова и ее родина. Прощай, Трикс.

И Фриц поцеловал ее в лоб.

Она разрыдалась. Но вдруг утихла и выдохнула, запинаясь на каждом слове:

— Дядя Фриц... В мою погибшую жизнь вновь вошел свет... Но прежде чем я пойду по пути безмолвия, мне хочется попрощаться с этой жизнью здесь, оставив что-то хорошее. Дядя Фриц, прими единственный дар, которым обладает девушка с улицы: разреши мне на эту ночь остаться у тебя.

Она прижалась к нему и спрятала голову у него на груди.

Фриц был потрясен. Значит, она решила, что ей придется обречь себя на самоотречение, и вздумала попрощаться со всем, что было в ее жизни.

— Дитя мое, — мягко промолвил он, — тебя ожидает вовсе не тишина самоотречения, а мир глубокого душевного счастья. Тебе надо не прощаться с жизнью, а заново ее начинать! Высохшие источники в твоей душе вновь радостно зажурчат, и затерявшиеся родники пробьются на поверхность! Любовь и доброта! Ты спокойно соберешь все это в широкую

¹¹ Известный автор. Пер. В. Летучего.

¹² Известный автор. Пер. В. Летучего.

реку, а река вольется в далекое море. Ты еще сделаешь кого-то очень счастливым, ибо в тебе таится множество сокровищ.

— Я... сделаю кого-то... какого-то человека... счастливым?

— Да, дитя мое, и ты сама будешь очень счастлива.

— Неужели... неужели это правда?

— Да!

— О, дядя Фриц... Теперь серая завеса исчезла... Я вновь вижу прекрасную страну... Вот теперь я могу уйти... Ах, если бы ты шел рядом! Можно я буду тебе писать?

— В любое время, и я тотчас буду отвечать. Если я тебе понадобится, приезжай или напиши — и я приеду.

— До свидания... До нашего свидания, дорогой дядя Фриц!

Она протянула ему губы для поцелуя.

— Прощай, Трикс.

Она постояла в дверях и еще раз оглядела мансарду — тихую коричневатую комнату, Окно Сказок, уголок Бетховена с красивым портретом и мерцающими свечами, голову Христа работы Фрица, мягко освещенную свечным пламенем, — тут слезы вновь потоком хлынули из ее глаз, и Трикс, рыдая, выбежала за дверь.

Х

Наступила зима. Зажглись первые дуговые лампы, знаменуя начало театрального сезона в Лейпциге. Ланна Райнер находилась на вершине своего триумфа, и ее засыпали приглашениями. Директор Музыкального театра в Мюнхене сдержал свое обещание и подобрал издателя не только для «Фантазии в красновато-серебряных тонах» Эрнста Винтера, но и для сборника его песен. Ланна повсюду выступала с песнями Эрнста, так что они вскоре приобрели широкую известность, и ноты быстро раскупались. Вместе с Эрнстом она дала несколько концертов, которые принесли кучу денег. Так что Винтера почти всегда видели рядом с Ланной и приглашали обоих. Правда, в интимные отношения между Ланной и молодым композитором мало кто верил, поскольку певица слыла особой привередливой и разборчивой. Чаще всего предполагалось просто сходство музыкальных вкусов.

У директора Музыкального театра был большой званый вечер. Некоторые гости уже прибыли и оживленно беседовали друг с другом. Два господина стояли немного поодаль.

— Скажите, пожалуйста, доктор, — обратился к собеседнику более низкий и толстенький из двоих, — я только что услышал, что красавица Ланна тоже придет сюда.

Тощее выразительное лицо второго господина нервно дернулось.

— Значит, и ее прихвостень будет тут как тут.

— Вы имеете в виду молодого композитора? Говорят, он очень талантлив.

— У кого хватает таланта на Райнер, может быть доволен судьбой.

— Вы все шутите, доктор. Она могла бы выбрать себе кого-нибудь другого.

— Вот именно, раз у нее уже есть этот.

— Вы разжигаете мое любопытство.

— А вы что — совсем не разбираетесь в женщинах? Тогда слушайте. Райнер — красивейшая баба. Согласны?

— Писаная красавица.

— Вот видите! И вследствие этого весьма избалована — тоже заметили?

— К сожалению.

— То есть пресыщена.

— Возможно.

— Не возможно, а точно. Отсюда и ее капризы. Если пить беспрерывно вино и шампанское, то через какое-то время вновь потянет на простое пиво. А если у тебя в достатке изысканности, культуры, искусства и моды, то через какое-то время вновь потянет на природу.

— Понимаю... Простой парень...

— Не только в этом дело. Все талдычат ей о своей любви и готовы сложить весь мир к ее ногам. А избыток приводит к пресыщенности и доуке. И теперь она хочет давать сама! То есть после всех игр в любовь — хочет любить.

— Ну, насчет любви — это красивая сказочка, доктор. Такое бывало разве что в средние века.

— Дорогой Леви, вы, вероятно, кое-что смыслите в валюте, биржах, банках и деньгах, но в женщинах вы нисколько не разбираетесь! Старина, настоящей женщине в один прекрасный день надоедают интрижки и флирт, ей хочется настоящей любви! А поскольку она уже приобрела некоторый привкус полусвета, попросту говоря — потаскалась, она уже не желает полюбить равного себе мужчину, выйти за него впоследствии замуж и так далее. Это ей скучно. Женщине нужна комнатная собачка, вроде болонки, чтобы было кого приласкать, такого милого мальчика, называйте его как угодно. Поняли?

— Вполне. Сейчас же расскажу своей супруге...

— Стоп!

— Дайте слово, что никому ничего не скажете.

— Но как же, доктор...

— Без промедления! Обещаете?

— Ну хорошо, даю вам слово. А все же странно, доктор, почему нельзя рассказать, ведь вас лично это вовсе не касается.

— Терпеть не могу сплетен!

— О Боже, ничего не понимаю. Ведь вы могли бы весь этот вечер быть в центре внимания, а за несколько месяцев прослыть опытным знатоком женщин. Просто какая-то причуда!

Покачивая головой, он отошел.

— Идиот, — пробормотал доктор, глядя ему вслед. — Потому что я люблю ее. Именно поэтому и несмотря на это.

Открылась дверь. Вошли Ланна и Эрнст. Все взоры обратились на них. Хозяин дома поспешил им навстречу и тепло их приветствовал. На Ланне было великолепное крепдешинное платье с глубоким вырезом. Гвоздем программы этого вечера предполагался некий русский, князь Разников, миллионер и большой любитель музыки. Хозяин дома сообщил о нем Ланне и спросил, не хочет ли она, чтобы к столу ее сопровождал именно этот господин. Ланна отказалась, — мол, она уже попросила об этом господина Винтера. Хозяин дома выразил глубокое сожаление, поскольку князь очень просил оказать ему такую честь.

— Мне тоже очень жаль.

— Ну что ж...

Двери в столовую залу распахнулись, и все увидели покрытый белой скатертью стол в виде подковы. Русский князь, высокий мужчина с темной окладистой бородой и властными манерами, повел к столу дочь хозяина дома. Ланна сидела напротив него и беседовала вполне непринужденно и живо. Князь принялся рассуждать с Эрнстом и хозяином дома о Берлиозе, а потом вовлек в разговор и дам. Он то и дело поглядывал на Ланну. Во время оживленного обмена мнениями Эрнст внезапно почувствовал, что Ланна коснулась его коленом и услышал шепот: «Мальчик мой...» А потом во всеуслышание: «Разрешите мне попросить мозельского вместо рейнского?»

Сдерживаемое торжество жарко бросилось ему в голову.

После ужина мужчины удалились в курительную комнату, где их ждали сигары и коньяки. Но вскоре князь предложил вновь объединиться с дамами, и хозяин дома был послан парламентаром. Вернувшись, он объявил о безоговорочном согласии.

Все направились в музыкальную гостиную. Князь попросил Ланну исполнить какую-нибудь песню.

— Вы позволите мне вам аккомпанировать?

— Об этом надо спросить господина Винтера.

— Само собой разумеется... С удовольствием...

Ланна бросила на Эрнста лукавый взгляд, улыбнулась и протянула князю ноты. Тот заиграл вступление, но вскоре вдруг оборвал игру.

— Это чудовищно, — пробурчал он, — такое нарушение такта... И эти странные созвучия. Мне придется слишком много внимания уделять самой игре, и я не смогу хорошо вам аккомпанировать. Как это вообще звучит?

— Лучше всего спросить у композитора.

Князь прочел фамилию автора и поднял глаза на Эрнста.

— Это вы, господин Винтер? О, пожалуйста, садитесь на мое место, я просто сгораю от нетерпения.

Эрнст сел за рояль. Загадочные такты и совершенно необычные созвучия... Распускаются странные цветы... Они опадают в пурпурное море... Внезапный взмах крыльев... И насильственный печальный покой...

Тут вступила Ланна:

О, час наш вечерний — только с тобой!
Час нашей встречи тайной.
Сойди же на землю, ангел мой,
И дай мне покой душевный.
Улицы в сумраке, воды тихи,
Страсти желаний угасли.
Те, что родились, тихо ушли
В розах покоя и счастья.
О, час наш вечерний — только с тобой!
Полная светит луна.
Лучший наш час, когда тихо звенит
Вечного счастья струна.

Странная это была песня. Эрнст написал ее в сиреневые сумерки, когда жизнь и смерть балансировали на лезвии ножа. Слушатели были взволнованы до глубины души.

Князь поцеловал Ланне руку и с серьезным видом пожал ее.

— Вы — великий музыкант, — сказал он Эрнсту, — простите, что я начал было судить, будучи всего лишь дилетантом. Более странной песни я никогда в жизни не слышал. Казалось, что все здесь — и лампы, и смех, и мы сами — стали бесплотными, серыми тенями, а голос, грустный голос звучал где-то далеко-далеко. Чьи это слова?

— Одного моего друга.

— Какая странная мистика... Это глубокое раздумье... В этом есть что-то русское...

Эрнст промолчал.

Беседа потекла по другому руслу. Из музыкального зала вынесли все стулья, и начались танцы.

Бледная дочка хозяина дома задержала Эрнста: она попросила дать ей ноты песни.

Все свое внимание князь посвятил Ланне. Он рассыпался в комплиментах и просил уделить ему хотя бы один танец. Вскоре они понеслись по залу под чарующие звуки опереточного вальса. Красивая пара! С этой минуты Ланну уже не отпускали, и она переходила от одного кавалера к другому. Эрнст иронически улыбался. «Идиоты, — думал он, — счастливы, что им удалось потанцевать с ней, пыжатыся от гордости, когда она им улыбается. Если бы они знали... Она же моя...»

Он продолжал слушать робкую болтовню хозяйской дочки. Ланна время от времени искала глазами Эрнста, удивляясь, что он так долго не подходит к ней. Но Эрнст продолжал болтать с бледной особой. Редкое сходство ее глаз с глазами Элизабет заставило его вспомнить об оставленной им девушке. И Эрнст стал рассказывать о Приюте Грез — здесь он почему-то мог говорить о нем, непонятно почему. У Ланны же он никогда больше не

упоминал о мансарде Фрица.

Ланна устала. Она попросила дать ей отдохнуть от танцев и присела на кушетку. Князь не отставал от нее ни на шаг, и еще несколько мужчин последовали его примеру. Она явно была здесь царицей бала.

Доктор пригласил дочь хозяина дома на танец. Эрнст поискал глазами Ланну и улыбнулся, увидев, что все столпились вокруг нее. Потом медленно подошел и склонился перед ней. Она тотчас поднялась и взяла его под руку. Когда они понеслись в танце, Ланна опять тихонько прошептала: «Мальчик мой...» Его глаза просияли.

— У тебя грустный вид, мальчик мой...

— Уже нет...

— Все еще грустный. Я устала. Пойдем домой. Хочу спать.

— Согласен.

Вскоре Ланна стала прощаться. Заметив, что князь вознамерился проводить ее, она громко попросила Эрнста выйти вместе с ней.

Они подъехали почти к самому дому, а остаток пути прошли пешком.

— Ты так молчалив, мой мальчик...

— Когда ты со мной...

— Нет, тут что-то другое. Ты что-то скрываешь...

— Да нет, ничего.

Она отперла дверь и включила свет, Эрнст стоял за ее спиной. Ланна откинулась назад, обеими руками притянула его голову к себе, еще больше прогнулась и поцеловала его долгим поцелуем. Эрнст вдруг вспомнил об Элизабет и хотел было воспротивиться. Но в голове все пошло кругом, и очарование этого часа крепко взяло его в плен.

Когда на следующее утро Эрнст, приняв ванну, отправился к себе, он ощутил в душе какое-то легкое царапанье. Дома Эрнст обнаружил письмо от Фрица и поспешно его вскрыл. На него сразу повеяло ароматом родины... Родина... Фриц повествовал в письме о последних событиях, об Элизабет и прочих. Упомянул он и о том, что все будут рады, если он приедет. Родина... Родина... У Эрнста едва не закружилась голова. Образ Элизабет явился с такой четкостью, что он готов был протянуть к ней руки. Родина... родина... призывно звонили в его душе колокола. И он решил в ближайшее время поехать домой, к Фрицу.

Всю вторую половину дня Эрнст проспал. Проснувшись, тщательно оделся и поручил хозяину цветочной лавки послать Ланне в театр несколько орхидей. Она вновь показалась ему недостижимо далекой, как всегда, когда он не был с ней рядом. Сначала он хотел было написать ей, что собирается поехать на родину. Но потом ему показалось, что сообщать об этом в письме — сродни трусости. И Эрнст решил поступить иначе — пойти в Оперу, после спектакля проводить Ланну домой и сказать обо всем лично. Когда он увидел Ланну на сцене — в тот вечер давали «Долину» Эжена д'Альбера¹³, — слабая боль кольнула его в сердце. «Она так прекрасна», — подумал Эрнст. На нее обрушился гром аплодисментов, и сердце его вновь запылало.

По дороге к дому Ланны у Эрнста не хватило духу сказать ей то, что собирался. Она то и дело целовала его глаза, повторяя: «Мальчик мой, прочь эти грустные глаза».

Это было ему почти неприятно, и все же Эрнст так жаждал ее ласк...

— Мальчик мой, что с тобой, о чем ты думаешь? — Ланна присела на подлокотник кресла.

— Сегодня я получил письмо от Фрица.

— Из-за этого ты так грустен?

— Да.

¹³ Эжен д'Альбер (1864–1932), немецкий пианист-виртуоз и композитор, по национальности француз. (Примеч. ред.)

— Мальчик мой... — Ланна испуганно взглянула на него.

Потом на ее губах вновь появилась та странная дурманящая улыбка. Незаметным движением она приспустила с плеча правую бретельку и медленно приложила нежную грудь к его щеке. Он закрыл глаза.

— Скажи же мне, любимый, — прошептала она и правой рукой обвила его плечи, — там что-то стряслось? — Она положила его ладонь на свое колено. — Что такого печального в этом письме?

— Ничего... Только приятные новости...

— Но почему ты тогда столь грустен, золотой мой?

Эрнст собрал все силы, чтобы не поддаваться настроению.

— Я решил поехать к Фрицу. Тоска по родным местам...

Ланна поджала губы.

— Откуда она, мой мальчик? Разве я уже не заменяю тебе родину?

— Конечно, это так... И все же меня гложет тоска по родным местам.

— По Фрицу?

— По всем моим друзьям.

— Ага, значит, и по светловолосой простушке?

Он вскочил:

— Что ты сказала?

— По твоей светловолосой добродетельной обезьянке, — спокойно повторила Ланна и водворила бретельку на место.

— Ты не имеешь права так говорить об Элизабет!

Ланна не ответила, только поглядела на него с загадочной улыбкой и покачала носком туфельки.

— Возьми свои слова обратно!

Она насмешливо улыбнулась.

— Если ты завтра уедешь, я тоже уеду — в отпуск. И между нами все будет кончено!

— Возьми свои слова обратно!

— Я просто объяснила тебе, что с тобой происходит.

— Ты... Ты! — Он сильно сжал ее запястья и злобно взглянул Ланне в лицо.

— Может, дать тебе в руки плетку? — Ее глаза обожгли его.

Эрнст тотчас разжал руки и посмотрел на нее уже более спокойно.

Красивые губы Ланны вновь сложились в ту странную улыбку, сотканную из греха, печали и жажды любви.

И Эрнст сломя голову бросился прочь.

У себя дома он принялся лихорадочно складывать вещи. Рано утром Эрнст собирался сесть в скорый поезд. Когда он бросал в чемодан свое белье, на пол упал и развернулся пестрый шелковый платок. Несколько черных волосков... Волосы Ланны. Он хотел было вышвырнуть платок в окно. Но какая-то невидимая сила словно схватила его за руку. От волос исходил легкий аромат. В следующий миг он вспомнил ту ночь, полную страстных ласк. «Демон», — пробормотал он, продолжая держать платок в руке. И никак не мог разжать пальцы. От злости на самого себя он с силой захлопнул чемодан и швырнул платок на стол. Потом, не раздеваясь, бросился на кровать, и попытался заснуть. Но сон бежал его. Словно загипнотизированный, Эрнст неотрывно глядел на стол, где лежал платок с черными волосами. Ему чудилось, будто они фосфоресцируют в темноте. Эрнст попытался представить Фрица и его Приют Грез и прижал ладони к глазам. Но видел только освещенное мягким красноватым светом лицо с огромными черными глазами и странной чарующей улыбкой, порхающей вокруг рта.

— Я не хочу... Не хочу... — просипел он сквозь зубы и зарылся головой в подушки.

Тени скользили над ним — огромные, призрачные тени... Их отбрасывали в комнату пронесившиеся по небу ночные облака. Тени исчезали, в комнату вливался свет луны, а затем снова по стенам скользили тени... Ему казалось, что они проходят сквозь его тело, и

тогда Эрнста пронзала режущая боль. А горячечным глазам повсюду виделись душные сумерки и яркие-яркие блестящие губы.

Он кусал себе руки от тоски и упрямства и комкал подушки и простыни. В голове промелькнуло нежное воспоминание о горе шелковых подушек и волнах черных, как вороново крыло, локонов над черными глазами. Вконец измученный, Эрнст вскочил с кровати и стал метаться по комнате.

«О, если бы пойти к ней!» — молнией пронеслось в голове. Эрнст встал как вкопанный. Но тут же проклял себя и издал слабый стон. Однако мысль уже засела в мозгу, она зацепилась там, словно рыболовным крючком, и все прочнее укреплялась. Эрнсту представилось, с какой насмешливой улыбкой встретит его Ланна. Но внезапный прилив крови к голове смыл все сомнения. Черные волосы, фосфоресцируя, светились в темноте.

«Предательство... Измена... Я предатель... Подлец...» прохрипел Эрнст и, дабы утишить боль, снова представил себе Элизабет. Он даже вцепился в оконную раму, чтобы накатившая жгучая волна вновь не подхватила его, и, рыдая, повторял как заклинание: «Фриц... Элизабет... Фриц... Элизабет...» Вдруг Эрнст почувствовал, как его руки обмякли, а горящие глаза стали жадно искать ту странную, чарующую улыбку. Обезумев от любовной тоски, презрения к самому себе и гнева, он бросился к письменному столу и выхватил из ящика кинжал, чтобы вонзить его себе в грудь.

Тут из-за облаков выглянул месяц, и его блеклый свет поплыл по комнате. Эрнст взглянул на полоску сверкающей стали в руке и с горьким смехом отшвырнул ее прочь. «Трус... Трус... Предатель... Жалкий пес... Трус...» — яростные мысли насквозь пронзили его, и Эрнст едва не умер от презрения к самому себе. «Вот теперь ты созрел... Теперь ты готов пойти к ней!» — шипели в нем смутные голоса. Вновь раздался пьянящий звон, он разросся и превратился в голубую бурю и пурпурный ураган, гром и шипенье пенящихся волн заглушили все мысли. Эрнст взлетел на гребень гигантского вала, а потом погрузился в пучину... Красная волна на фоне пурпурного прилива...

Он несся по ночным улицам к дому Ланны, словно за ним гнались.

Дверь не была заперта. Эрнст проскочил коридор и анфиладу комнат и заметил слабый свет в будуаре. Он отдернул портьеру. Темно-красное сияние, исходившее от матового светильника в спальне, сквозь раздвинутые занавеси проникало в сумрак будуара. Ланна лежала на кушетке. Ее обнаженное тело было лишь слегка прикрыто зеленой шелковой накидкой. Свешивалась рука с зажатой в ней книгой. Густые волосы были распущены. Обрамляя бледное лицо с лихорадочно горящими глазами, они черной волной ниспадали на зеленый шелк.

Эрнст, мертвенно бледный, застыл на пороге. Расширенными, полубезумными глазами он впитывал в себя эту картину.

Ланна приподняла голову с подушки и медленно произнесла своим звучным голосом:

— Мальчик мой! Любимый! Я так тосковала по тебе... Иди же ко мне! — Она протянула к нему руки.

Это добило Эрнста. Он ожидал иронии и насмешки, но кой прием положил его на обе лопатки.

Он упал перед Ланной ниц.

Странная дрожь тронула гордые губы красивой женщины, а в ее глазах блеснула короткая молния.

— Отныне ты всегда будешь со мной?

Зарывшись головой в подушки, он глухо прорыдал:

— Я ведь не могу иначе...

Ланна улыбнулась удивительно милой улыбкой, в которой смешались греховность, томление и грусть. А потом прикрыла зеленым шелком Эрнста и себя вместе с ним.

XI

Сквозь Окно Сказок в мансарду светили звезды. Толстый слой снега лежал на раме. Тем уютнее и приятнее было внутри. Теплый золотистый свет лампы бросал мирные блики на руки присутствующих. Обычно мрачный Бетховен сегодня приобрел разудалое выражение лица. Элизабет пела под лютню плутовские романсы. По углам прятались сумерки, а рюмки и камни сверкали, как волшебные огни.

Вновь пошел снег. Было слышно, как снежные хлопья ложились на стекло. Время от времени белый покров вздрагивал и соскальзывал вниз. В духовке пузырились и шипели печеные яблоки. От горячего чая в коричневых чашках шел пар. Портреты на стенах улыбались и кивали.

— Скажи, дядя Фриц, почему у тебя на столе стоят белые хризантемы? Ведь это цветы для похорон.

— Сам не знаю. Как только я увидел их, сразу понял, что непременно куплю. Они такие красивые, такие спокойные, такие белые — как снег за окном. И о многом напоминают. Ведь я прожил долгую и богатую жизнь — да-да, богатую, несмотря на страдания, — внутренне богатую и прекрасную.

— Почему ты говоришь об этом сейчас, дядя Фриц?

— Потому что цветы напомнили мне об этом.

— Ты сегодня настроен очень торжественно. Оставь эти мрачные мысли. Подумай о весне — мы встретим ее со всей силой ожидания, накопленной за зиму.

— Да, еще одну весну я хотел бы увидеть! Еще раз нарвать красных маков и поставить их в мои вазы! Огненно-красных пьянящих маков — обжигающих цветов легкомыслия. И роз... Жизнь стала тихой, Элизабет.

— Но тишина тоже живая.

— Я этого не чувствую. Она кажется мне похожей на последнее приготовление к долгому сну. У меня осталось одно желание: умереть красиво.

— Дядя Фриц!

— Да, дитя мое... Умереть радостно и перейти в великое Небытие с лицом, не искаженным болью. Конец жизни должен быть, как сама жизнь, — не веселым, не смеющимся, не ожесточенным, не смиренным. Нет, он должен быть исполнен той светлой радости древних греков, которая заключала в себе все — и ликование, и смирение, и конечное преодоление... Концентрированная радость...

Фриц взял кусочек желтого мела и написал на стене:

«Конец должен быть радостным».

— Дядя Фриц, оставь эти грустные мысли.

— Странной жизнью мы живем, Элизабет. Когда-то ты пришла сюда, чтобы получить у меня опору и поддержку. Теперь мы почти поменялись ролями. Ты повзрослела, Элизабет, и стала женщиной. Последние месяцы очень сильно продвинули твоё созревание. Эрнсту будет трудно узнать тебя.

— Эрнст... — Элизабет умолкла, задумчиво глядя перед собой.

— Он давно не писал тебе?

— Не в том дело...

— Это кризис...

— Или конец...

— Это кризис, Элизабет.

— Да, дядя Фриц...

На лестнице послышались шаги. С головы до ног в снегу, в комнату ввалились смеющиеся Фрид и Паула. Паульхен притащила с улицы снежок, чтобы одарить им дядю Фрица, однако в последний момент, когда Фриц уже искал, где бы укрыться, передумала и опустила снежок за шиворот Фриду, и тот весь затрясся от холода и неожиданности.

Когда наконец все уселись за стол, Фрид поведал о своих взаимоотношениях с госпожой советницей. Ей взбрело в голову позировать для портрета в летнем платье и с игривым выражением на лице, повернутом вполборота.

— Вы только представьте себе, друзья, какая наглость! Она приходит каждый раз в сопровождении горничной, которая тащит целый чемодан. Советница — в шубе, с муфтой, при вуали — входит, словно Диана, Юнона или Паллада, шумя юбками, и вместе с горничной скрывается за ширмой, чтобы вскоре выпорхнуть из-за нее, изображая юную застенчиво-кокетливую милашку. Я уже заработал двести марок на карикатурах, рисуя эту расплывшуюся физиономию с неподражаемо игривой миной. Такой материал грешно упускать! Горничная — ее берут с собой для приличия, как собачку, — веселится от души. Но при всем при этом советница — добрая душа. Что есть, то есть.

Так получилось, что вечер закончился общим весельем и взрывами смеха.

Несмотря на белые хризантемы.

Госпожа Хайндорф пригласила Фрица на прогулку. День был солнечный и почти теплый. Но к вечеру ощутимо похолодало и начало подмерзать. Когда Фриц вернулся домой, его сильно знобило, он почувствовал, что заболел.

Ночью он весь вспотел и сильно кашлял, а на следующее утро поднялась температура. Женщину, пришедшую убирать комнаты, Фриц послал за доктором. Тот озабоченно покачал головой.

— У вас слабые легкие, господин Шрамм.

— У меня уже давно астма и эмфизема легких.

— Вы живете один?

— Да.

— Гм, надо бы пригласить сиделку для ухода.

— Разве мои дела так плохи?

— Нужно быть предусмотрительным. К вечеру я еще раз загляну к вам. Если состояние не изменится, придется позвать сиделку.

Фриц задремал.

Под вечер пришла Элизабет. Она встревожилась не на шутку.

— Что случилось, дядя Фриц?

Он рассказал о визите врача и его заключении.

Вскоре появился доктор. Он осмотрел Фрица и сказал:

— Я пришлю вам сиделку.

Фриц слабо улыбнулся и тут же опять заснул.

— Сиделка у него уже есть, — откликнулась из темноты Элизабет.

— Вы имеете в виду себя, барышня?

— Да. Я полгода добровольно помогала медсестрам в Мариинской больнице. Так что я остаюсь здесь.

Доктор быстро взглянул на нее.

— Хорошо. — Он объяснил ей, что надлежит делать.

— Что с ним, господин доктор?

— Воспаление легких и плеврит. Легкие у него слабые, очень слабые.

Ночью Фриц начал бредить:

— Так темно... Темно... Почему такая темь?.. Зажгите же свечи... Ведь глубокая ночь...

Потом вздохнул и опять забылся.

Элизабет неотлучно сидела у постели Фрица. Все ее душевные силы были сосредоточены на его выздоровлении. Осторожными движениями она меняла компрессы и подбрасывала дрова в огонь, прислушиваясь к дыханию Фрица, которое явно учащалось.

— Мне жарко, — стонал он, — положите мне на лоб немного льда... Твои ладони так прохладны, Лу...

Элизабет положила руку ему на лоб. Фриц совершенно отчетливо произнес «Благодарю тебя» и вновь впал в беспокойную дремоту, прерываемую неясным бормотаньем.

— Лу, ты здесь... Почему ты плачешь? Я так тосковал по тебе, так тосковал... Где твои голубые милые глазки... Ты — рыдающее счастье моих грустных дней... Родина...

Родина...

Он откинулся на подушки. Элизабет осторожно поправила изголовье. Утро серым языком лизнуло оконные стекла. Жар у Фрица усилился. Элизабет известила Фрида и Паульхен и послала на почту отбить телеграмму Эрнсту.

Внезапно Фриц открыл глаза.

— Элизабет.

— Дядя Фриц.

— Что со мной?

— Ты немного приболел и теперь выздоравливаешь.

Он покачал головой. Потом прочитал афоризм на стене и кивнул.

— Какое сегодня число, Элизабет?

— Шестое марта.

— Знаешь, у кого сегодня день рождения? У нее!

— Тогда вечером мы все соберемся здесь, у тебя.

— Да! И Эрнст тоже!

— Я пошлю ему телеграмму.

— Да, пусть он придет. Мне многое нужно сказать ему. А сейчас я устал. Часок посплю, а потом ты меня разбудишь, хорошо?

— Хорошо, дядя Фриц.

В полдень пришел доктор.

— Конец близок!

Элизабет ухватилась за столешницу, чтобы не упасть.

— Неужели никакой надежды?

— Никакой. Кроме надежды на чудо. Ближе к вечеру он, вероятно, еще раз проснется, — добавил врач, заметив, как помертвело лицо Элизабет.

В душе она все еще цеплялась за слово «чудо», когда пришли Фрид и Паульхен. Глаза у Паульхен были заплаканные.

— Он спит, — прошептала Элизабет. — Доктор считает, что ближе к вечеру он еще раз проснется. Пойдите купите цветы. Сегодня день рождения Лу.

— Розы, — прошептала Паульхен.

— Роз сейчас, наверное, нет в продаже.

— Мы их обязательно купим, — процедил Фрид сквозь зубы.

Через час посланцы вернулись с розами и другими цветами. Фрид и Паульхен принесли по целой охапке роз. Они собрали все вазы и кувшины, какие нашли в мансарде, — их едва хватило. Розы поставили возле кровати, которая по желанию Фрица стояла у печки. Повсюду в комнате, куда ни кинешь взгляд, — цветы. Цветение и благоухание. Сладостный аромат роз поплыл по воздуху и заполнил все уголки.

Поздно вечером Фриц вдруг открыл глаза и огляделся.

— Где я? — спросил он.

— У себя, — ответила Элизабет сдавленным голосом.

Он увидел цветы.

— Розы, розы, — пробормотал он. — Вот я и увидел их еще раз.

Все столпились у его изголовья.

— Сегодня день рождения Лу, — сказал Фриц слабым голосом. — Принесите белые свечи и зажгите их.

Элизабет поставила свечи перед красивым портретом, обрамленным розами.

Пламя свечей мерцало и колыхалось. Казалось, красивые глаза на портрете светятся, а алые губы улыбаются.

— Подвиньте кровать ближе к середине комнаты, чтобы я мог ее видеть.

Они выполнили его просьбу, и Фриц долго и неотрывно глядел на портрет.

— Зажгите побольше свечей.

Весь Приют Грез был залит мягким, дрожащим, красновато-золотым светом свечей.

— А где Эрнст?

— Он приедет.

— Да, Эрнст обязательно должен приехать. Элизабет, помни о нем. Принесите вина... темно-красного... Шесть бокалов... — Фриц с трудом выпрямился, сидя на кровати. — Устраивайтесь за круглым курительным столиком.

Элизабет постелила скатерть, поставила на середину вазу с розами и придвинула столик поближе к ложу больного.

— Шесть бокалов — один... два... три... четыре... пять... шесть... Да... Один для Эрнста... Один для Лу...

Фриц оборвал лепестки с одной розы и положил их в бокал для Лу. Потом дрожащей рукой налил туда темно-красного вина.

— Дети мои... Видно, мне придется покинуть вас... Как это трудно... Помните, ваша опора — в вас самих! Не ищите счастья вовне... Ваше счастье — внутри вас... Будьте верны себе. И пройдите благостный путь от обретенного Я к Ты, а потом и к Вселенной. Это небесное братание... Все на свете — ваши братья и сестры... Деревья, пустыни, море, облако в багрянце вечерней зари... Ветерок, обвевающий деревья в лесу... В мире нет раскола и вражды... В нем все — единство и гармония... Вечная красота. Настраивайте свои души по великой арфе природы, если они вдруг зазвучат не в унисон... Все течет... Ничто не окостенеет... Все понимать — значит все прощать. На земле так много горьких загадок для человека... И последняя из них... часто заключена в розе... в улыбке... в мечте. Я молитвенно складываю свои усталые руки — это моя последняя опора на краю небесной пропасти... И, спускаясь туда, я взываю к вам, еще бродящим по солнышку: будьте верны самим себе! Давайте выпьем за это... Это — мое завещание и моя клятва. Посвящаю этот бокал жизни и смерти, вечной Вселенной и любимой моей покойной Лу...

В каждый бокал закапали слезы. Но все выпили вино до дна.

Фриц передохнул и едва слышно продолжил:

— Держитесь вместе — вы найдете опору друг в друге. И не забывайте людей! Щедро давайте им! Зачем вам их благодарность? Сознание содеянного добра — это и есть благодарность! Раздавайте перлы своей души — в жизни так мало душевности. Многим одно лишь доброе слово помогло вновь стать человеком, а золото оказалось бессильным. Ищите не механическое, а человеческое отношение к людям... И найдете сокровища. Человек добр! Придерживайтесь этого правила... Приют Грез станет вашим. Лу... — он шумно задышал. — Моя чудесная, без вести пропавшая цветочная мечта в густых сумерках сада... отзвучала... отпела... Вскоре погаснет свеча... И это все...

Фриц упал на подушки.

— Элизабет...

Она склонилась над ним.

— Песню... Ее песню...

Элизабет тихонько запела, ее голос звучал глухо от сдавливающих горло рыданий:

— Слышу до сих пор, слышу до сих пор...

Стало совсем темно. Свечи отбрасывали мягкие тени на лоб Фрица. В его карих глазах мерцал благостный свет.

— Лу, — шептал он, — Лу...

Тоскливо и печально, словно луч закатного солнца, коснувшийся старого золота, плыла в аромате роз песня:

Милый отчий край, милый отчий край
В заветной стороне...

В темноте слышались сдавленные рыдания Фрида и Паульхен. Страдальческим вздохом звучала строка:

Ласточка летит, ласточка летит...

И взрывалась отчаянием следующая:

Но она поет, но она поет...

А потом, подобно далекой скрипке в сумерках, затихая:

Как той весной...

Фриц уснул. Потрескивали свечи. За окнами падал снег.

У больного вновь начался жар.

— Черная птица... Что надо этой птице?.. Она все летает и летает... Как горит у меня голова... Лу... Все такое золотое кругом... Но эта птица... Эта черная птица... Эрнст... Где... Где... Ты должна это сделать, Элизабет. Он тебе все равно верен... Прости его, Элизабет... Способность прощать — только это и есть в человеке от Бога... Он поступает так не по легкомыслию... И он еще борется... Помоги ему, когда он тебя позовет, Элизабет... Обещай мне...

— Да... Да... Дорогой, любимый дядя Фриц...

Элизабет опустила на пол возле кровати и целовала его руки.

Он ее не слышал.

— Ведь я хочу... Всегда этого хотел... Ноги мои устали... Ноги болят... Я так много странствовал... А теперь я на родине... Омойте мои бедные ноги... Дети мои... Поскольку Фриц без конца повторял эту просьбу, они принесли таз, омыли его ноги и осторожно вытерли, вновь и вновь заливая их слезами.

Близился конец.

— Песню... Песню о Лу... Лу... Элизабет...

Он не сводил с Элизабет глаз. И она запела сквозь слезы:

Моя весна, в тебе вся жизнь,
Ты — счастье в доле человека.
Ты — та звезда, что светит близ
Меня, пока не смежу веки.

Фриц вдруг приподнялся и произнес четко и громко:

— Я всех вас одинаково люблю...

Потом рухнул на подушки, не сводя глаз с портрета.

Отблики свечей плясали на лице Лу, и по-прежнему казалось, будто ее глаза светятся, а алые губы говорят: «Вернись домой».

Мое ты небо, мой покой,
Мой рай земной навеки.
И будет мир в душе моей,
Коль ты прикроешь веки, —

пела Элизабет, плача навзрыд.

И еще раз, уже едва слышно, словно это всего лишь спокойная колыбельная песня:

Коль ты прикроешь веки...

Фриц лежал спокойный и красивый.

Он был мертв.

Свечи перед портретом затрещали и погасли.
Плач...
Безутешный плач...

ХП

Ланна Райнер вместе с Эрнстом отправились в Дрезден — певица собиралась дать там концерт. Спустя день, вечером, его пришлось повторить. На следующее утро они еще оставались в Дрездене и только в полдень вернулись в Лейпциг. Теперь Эрнст почти все время был рядом с Ланной. Он испытывал ужас перед одиночеством и жил в какой-то лихорадочной спешке. С вокзала они сразу поехали к Ланне. Стемнело, вскоре началась метель. Ланна плотнее задернула занавеси и откинулась на спинку кресла.

Эрнст задумчиво глядел на нее.

— Скажи мне наконец, душа моя, почему ты именно меня одарила своей любовью? Ведь во мне нет ничего примечательного. А у твоих ног лежали такие личности, я им не чета.

— Я и сама не знаю, почему, Малыш. В тебе есть что-то такое, чего у всех остальных нет и в помине. В тебе чувствуется некое праестество — я могу назвать это свойство только с приставкой «пра». А ты меня — почему?

— Ты — демон моей плоти.

— И ты произносишь это так мрачно? — Она кокетливо взглянула на него.

— Ты — очарование и несчастье моей жизни, — выдавил Эрнст и прижал ее к себе.

— Любимый! Малыш, что с тобой?

— Мне нужно ненадолго отлучиться. Я обещал встретиться в девять часов в одном подвальчике возле консерватории.

— Ах, Малыш...

— Я дал слово и должен его сдержать.

— Хорошо, но потом ты все же вернешься ко мне?

Она прижалась к нему всем телом и нежно поцеловала.

Подвальчик был уже открыт, в нем царил шумное веселье. Эрнста встретили всеобщим ликованием.

— Вот он, наш знаменитый Эрнст... Да здравствует!.. Давай чокнемся...

Эрнст выпил несколько бокалов вина подряд и сразу почувствовал, что опьянел. Все пели и пили без оглядки. Кто-то произнес сумбурную речь. Вино ударило всем в голову. Они пели «круговую». «Братец, как зовут твою подружку?» — «Лизбет, дай ей Бог здоровья...» И так далее по кругу. Каждый называл имя своей возлюбленной, и всякий раз все пили за ее здоровье. Кто-то колотил что есть силы по клавишам рояля, усугубляя шум, в воздухе плавали густые клубы табачного дыма. Ойген вскочил на стул.

— Братец, как зовут твою подружку? — спросил хор голосов.

— Они все мои! — ответил Ойген под ликующие крики остальных.

— Братец, как зовут твою подружку? — круговой вопрос дошел до Эрнста.

Он рассмеялся, подхватил мелодию и выпил залпом, так и не назвав никакого имени. Общий хохот.

— Ах ты, подлый трусишка! — несло со всех сторон.

— Нет у меня подружки! — крикнул Эрнст.

Собутельники дружно выдохнули «Ого!» и кто-то бросил в толпу:

— У кого подружка такая красавица, тот не должен от нее отречься!

Эрнст залился краской до корней волос. Аромат духов его возлюбленной еще не выветрился из его шевелюры, ее поцелуй еще горел на его губах. Одним прыжком он вскочил на стол с бокалом в руке и крикнул в обступившую его ликующую толпу:

— Братья, молодость еще венчает наши головы, а любовь устилает пухом наши тропы. Однако недалек тот час, когда мы все станем седыми старцами. Так будем счастливы сейчас! Молодость — розы — любовь! Я пью за это и за алые губки одной дамы!

Веселые собутыльники окружили его плотным кольцом и радостно чокались с Эрнстом, а он возвышался над ними, словно король над своими подданными, — перед глазами у него все кружилось, а в сердце горел пожар желаний!

Он никак не мог взять в толк, чего хочет от него человек в мундире. Не понимая, что делает, Эрнст механически взял из его рук телеграмму, так же бездумно вскрыл ее — глаза его еще смеялись, — прочитал, потом еще раз, выронил бокал, побледнел как полотно, покачнулся — и упал со стола на пол, бормоча что-то нечленораздельное.

Ойген подскочил к нему и обхватил руками. Эрнст продолжал что-то бормотать. Рядом на полу лежала телеграмма. Ойген прочел: «Дядя Фриц умер. Элизабет».

Эрнст начал метаться, и из его горла вырвался судорожный крик. Друзья отнесли его в чью-то комнату.

Через час он вышел оттуда. Ойген даже перепугался. Эрнст был бледен как мел, его глаза остекленели. Ойген спросил, не хочет ли Эрнст, чтобы его проводили. Тот взглянул мимо, словно не слыша вопроса, и молча вышел на улицу. Он остановил извозчика, вскочил в пролетку, но спустя несколько минут велел кучеру остановиться, расплатился и пошел домой пешком.

Там он стал механически паковать чемоданы. Под руку попался портрет Ланны. Эрнст порвал его, перестал укладывать вещи и задумался. Потом упрямо помотал головой. Не трусить! И решительно отправился к Ланне.

Заслышав его шаги, она кокетливо позвала:

— Малыш!..

Его даже затошнило от омерзения. К горлу подступили рыдания. Он уютно и недостойно пригрелся здесь в любовном гнездышке, в то время как его верный друг умирал в одиночестве.

— Малыш мой, ты не болен? — Испуганная его видом, Ланна поспешила навстречу.

— Это конец, — холодно произнес он и протянул ей телеграмму.

— Бедный, бедный Малыш, — тихонько сказала Ланна. — Оставайся сегодня у меня, а уж завтра... Просто чтобы ты не чувствовал себя одиноким.

— Я уезжаю этой ночью и не вернусь.

— Малыш! Ты хочешь меня покинуть?

— Это уже произошло.

Ланна увидела окаменевшее лицо Эрнста и поняла, что он сбросил с себя чары. За это она полюбила его с новой силой.

— Малыш, ты не сделаешь этого! Ты должен остаться со мной! Что тебе там делать? Ты уже ничем не сможешь помочь. Оставайся здесь! Мы уедем во Францию или в Италию и проживем вместе. Забудь старое и будь счастлив со мной! Что тебе там делать?

Эрнст сбросил с плеча ее руку.

— Что мне там делать? Вновь обрести себя у гроба того, кого я предал.

— Ах, Малыш, выбрось все это из головы — иди ко мне!

— Нет!

— Когда же ты вернешься?

— Никогда!

Она метнула на него горящий взгляд и выхватила револьвер из ящика письменного стола.

— Ты останешься здесь!

Он спокойно скрестил на груди руки и презрительно посмотрел на нее. Потом повернулся к двери.

Ланна отшвырнула револьвер, бросилась ему в ноги и зарыдала:

— Малыш, любимый... Любимый мой Малыш... Остайся... Вернись... Не убивай меня, Малыш...

Он оттолкнул ее и вышел на улицу.

За его спиной раздавались плач и жалобные вопли:

— Малыш, послушай же... Малыш мой...

Мало-помалу они утихли.

С гордо поднятой головой Эрнст зашагал к вокзалу. На углу своей улицы он вдруг встал как вкопанный и прижался головой к стене какого-то дома.

— Фриц... Дорогой мой друг... — пробормотал он.

Потом двинулся дальше.

Звезды уже не мерцали в небе. Потихоньку пошел снег — равномерно, снежинка к снежинке... На следующее утро весь Лейпциг был покрыт глубоким белым покровом.

XIII

Розы в Приюте Грез слегка подвяли. А снег все еще лежал плотным слоем на Окне Сказок. Тихонько открылась дверь. Эрнст вошел и встал у смертного одра своего лучшего друга.

Лицо покойного выглядело умиротворенным. Его благородные черты были отмечены невиданным на земле радостным покоем.

Эрнст оглядел комнату. Все в ней было, как прежде.

Только... Все было иначе. Эрнст почти не дышал, такой был скован.

— Фриц, — выдавил он еле слышно.

Его охватил страх перед немой смертью. Глаза расширились. В них заплясали какие-то линии и круги... Потом воздух вокруг почернел...

— Фриц! — вскрикнул он и со стоном распростерся на полу перед смертным одром, судорожно заламывая руки, хрипя и безостановочно повторяя: «Фриц... Фриц...» Потом вскочил и повалился на труп, чтобы согреть его своим теплом и оживить. Однако холод застывшего тела пронзил его смертельным ужасом, и, вскрикнув не своим голосом, Эрнст почувствовал, что самое любимое на земле существо внушает ему отвращение — таким абсолютно чужим показалось ему мертвое тело, — и он понял, что все-все уже позади.

Эрнст колотил себя по лбу кулаками и вопил, вопил:

— Фриц, мой дорогой, мой верный друг, возьми меня с собой... Спутник всей жизни, как мне жить без тебя...

Узкая рука дотронулась до его плеча. Он смятенно оглянулся. Позади стояла Элизабет.

— Эрнст, — она протянула ему руку.

В первый миг он не узнал ее, так сильно она повзрослела.

— Расскажи мне о нем, — попросил Эрнст и спрятал лицо в ладонях.

Дрожащим голосом Элизабет поведала ему о последних часах друга. Обо всем рассказала, умолчала лишь о том, что Фриц сказал ей об Эрнсте. Потом они оба сидели молча, глядя в одну точку перед собой. Наконец Элизабет поднялась и бросила на Эрнста вопрошающий взгляд. Он не пошевелился.

— Я останусь здесь и буду бодрствовать у тела моего лучшего друга.

Ближе к вечеру доставили гроб. Эрнст не давал никому дотронуться до покойника. Он сам уложил его в легкую фанерную копию цинкового гроба, в котором Фрица должны были перевезти в крематорий. Сам гроб поставили в мастерской.

Госпожа Хайндорф прислала лавровые деревца. Вся мастерская была доверху забита венками и цветами. Эрнст распорядился купить все розы в городе и осыпал ими гроб.

Наступил последний вечер перед отправкой в крематорий. У гроба горели десять толстых восковых свечей. Эрнст ни на минуту не покидал своего поста. Он сидел на полу, съежившись у изножья гроба, и не сводил глаз с любимого лица. Наступила ночь. Небо было усеяно сказочно сверкавшими звездами.

— Фриц, ты спишь вечным сном... Ты умер... Умер... Какое страшное слово! Ты жив только в моей памяти, но образ твой будет все бледнее и бледнее, покуда и меня не призовет мир хладных теней. Верный друг, ты лишь однажды нарушил обет верности, не взяв меня с собой в иной мир. Выслушай меня в последний раз: клянусь тебе хранить верность —

верность самому себе, как ты требовал... Ах, верный мой друг... Нет, ты не будешь одинок и там.

Эрнст вошел в Приют Грез, где висел тот прекрасный портрет.

— Милый образ! Тоска по тебе, не умолкавшая столько лет, теперь молчит. Златоустый певец, изливавший в песнях свою любовь и тоску по тебе, умер. Что тебе делать здесь без него? Пойдем со мной! Проводи его в последний путь.

Он снял портрет со стены и вернулся в мастерскую.

— Ты отправишься в последний путь не в одиночестве, Фриц. Женщина твоей мечты пойдет с тобой.

И он положил портрет в гроб. Потом принес все письма Лу и вложил их в руки Фрица. Стоял рядом и горячими, сухими глазами смотрел в любимое лицо, пока не пришли остальные. Потом появились рабочие. Эрнст выпрямился во весь рост и сказал громко, чтобы слышали все:

— Об этом покойнике не будут написаны тома, о нем не упомянут хроники. Ветер будет веять над его могилой, и вскоре уже никто не будет знать, где она. И все же по этому покойнику будут пролиты такие слезы, какими не оплакивали королей. Ибо эта утрата больше, чем смерть короля. Содрогнитесь, люди: от нас ушел Человек с большой буквы!

Он взял у рабочих инструменты и не подпустил никого к гробу. Все безудержно зарыдали, когда он стал забивать гвозди. Лишь из глаз Эрнста не выкатилось ни единой слезинки. Но с его губ скатились две большие капли крови. Гроб унесли.

Эрнст оставался в мастерской, пока мимо него не прошла Элизабет, направляясь на улицу. Тут он услышал горестный плач. Кто-то причитал: «Дядя Фриц, дорогой мой дядя Фриц... Теперь я опять одна-одинешенька...»

И Эрнст увидел у одра, на котором только что стоял гроб, распростертую на полу Трикс Берген.

В полдень гроб был в Бремене и стоял в крематории. Во время кремации Эрнст играл на органе. Служащие крематория никогда еще не слышали такой игры. Безутешная боль выплескивалась потоками звуков, из глубины которых постепенно возникала скрытая до поры мелодия песни «Слышу до сих пор...». Мелодия крепла и набирала силу, чтобы затем сникнуть и зазвучать нежно и жалобно в песне Фрица «Моя весна, в тебе вся жизнь...».

Вернувшись с похорон домой, Эрнст свалился в постель с нервной лихорадкой. Шесть недель он находился между жизнью и смертью. Элизабет позаботилась, чтобы его доставили в больницу, и сама ухаживала за ним. Наконец он восстановил силы и смог без посторонней помощи встать с постели. Но душевно Эрнст был сломлен. Бледный и тихий, он целыми днями сидел на веранде больницы, греясь на солнышке и читая письма и стихи Фрица. Тяжкое горе пригнуло его к земле. Элизабет он почитал, как нищий чтит святую. Он не мог постигнуть, каким образом ее чистые круги некогда пересеклись с его темными путями. И все-таки в его душе оставалось тихое, но очень болезненное волнение, он часто задумчиво глядел вслед Элизабет, когда она выходила из комнаты. В эти дни он обнаружил стихотворение Фрица, написанное карандашом на черной бумаге.

Кто вышел вдруг из темноты,
Сперва привыкнуть к свету должен.
Надень корону бедняку —
Страной он вряд ли править сможет.
И я, любовь моя, пробыл
Так долго в темноте,
Что в блеске нынешнем забыть
Не в силах годы те

Эрнст тут же придумал мелодию к этому стихотворению — спокойную, мрачно-тоскливую — и отдал листок с нотами и словами Элизабет.

Через две недели он выздоровел и медленно побрел привычным путем к Приюту Грез. Там его ожидало письмо Ойгена из Лейпцига, — видимо, тот забыл заказать, чтобы послание доставили в больницу. Письмо содержало много вопросов и кое-какие новости, из которых главной была следующая: Ланна Райнер обручилась с князем Разниковым.

Эрнст устало улыбнулся. Значит, и этот этап его жизни миновал. Он только подивился тому, как быстро в жизни может миновать нечто, в чем еще совсем недавно заключался весь ее смысл.

— Душа моя пуста, — сказал он вполголоса, ни к кому не обращаясь. — Ты все забрал с собой, Фриц.

Сумерки просочились в комнату сквозь Окно Сказок в крыше. Эрнст поудобнее устроился в кресле и прислушался к их голосам. Стены дома жили своей жизнью и шептали о чем-то своем, в надвигающейся темноте комната рассказывала свою историю.

— Мне тебя не забыть, — тихо сказал Эрнст в пустоту комнаты. — Все во мне принадлежало тебе, знаток человеческой души. — Он даже застонал. — Я промотал свою душу, Фриц, помоги мне обрести ее вновь! О как тяжела мысль, что гнетет меня днем и ночью: неужели эта утрата нужна была для того, чтобы я очнулся?

Так он сидел, роясь в старых письмах и книгах до глубокой ночи, вызвездившей небо над Окном Сказок.

— Фриц, ты — единственный, кто по-прежнему несет вместе со мной полноту и муку моей жизни.

И вдруг — крик:

— Элизабет! Миньона! Возлюбленная моей души, и тебя я утратил... Все погибло... Вся жизнь мертва, и все серо...

На следующий вечер друзья Фрица собрались в Приюте Грез. Погода была прохладная, моросил мелкий дождик. Капли стучали по оконному стеклу.

Все были необычайно молчаливы.

— Теперь здесь все изменилось, — сказала Паульхен. — Как будто из комнаты ушла ее душа.

— Утеряна связь, — ответил ей Фриц. — Каждый из нас сам по себе. А связывавшая нас нить порвана.

Эрнст прочитал вслух выдержки из последнего письма Фрица. Потом грустно сказал:

— Умер — значит, его нет. Мы никогда не увидимся с ним.

— Нет! — твердо возразила Элизабет. — Умер — не значит, что его нет! Неистощим и вечен кругооборот жизни. Память о нем и его душа живут в нас. Значит, он продолжает жить в нас. Только стал моложе. Вспомните его слова: «Все на свете ваши братья и сестры — дерево в степи, облако на закате, ветер в лесу». Значит, вы должны чувствовать себя в мире, как в своей семье. И вспомните, как он учил нас: от Я к Ты и далее — ко всей Вселенной. Путь от Я к Ты он давно прошел. И теперь перед ним последняя стадия кругооборота — Вселенная. Но круг бесконечен. Поэтому после Вселенной он вернется к Я. Это значит, что он с нами везде. Когда я смотрю на звезды, я знаю: он там. А когда вижу облака, то чувствую его успокаивающее влияние. Он во всем, в том числе и во мне. А также в цветке, в камне, в буре и штиле. Луна ночью светит в мое окно — это Фриц. И солнце улыбается мне днем — тоже Фриц. В мире не бывает расставаний навсегда. Фриц перешел из физической близости в духовное Далеко. Это трудно вынести, но все же он есть! Он — в нас! И мы сохраним память о нем и его наследие в глубине души, а также сохраним верность друг другу в борьбе против жизненных бурь вне нас и против головокружительных потрясений внутри.

Эрнст слушал и не верил своим ушам. В сердце его робко просачивалась надежда. Полно, да Элизабет ли это?

— Кем ты... стала? — выдавил он.

А Элизабет продолжала:

— Прибыла урна с прахом нашего любимого Учителя. Пусть она постоит три дня, окруженная розами в Приюте Грез, а потом мы похороним ее в саду, где цветут розы,

гвоздики и маки, которые он так любил.

И Элизабет осторожно поставила урну между розами.

Эрнст сказал:

— Не может такой небольшой сосуд вместить в себя этого человека. Фриц, дорогой, где ты?

Держа урну в руке, он прислушался. И услышал тихий шелест: то пепел пересыпался внутри урны. Эрнст решил, что Фриц умер и воскрес. От этого открытия он совсем лишился сил и расплакался при всех — впервые со дня смерти Фрица. Слезы лились рекой, то были слезы облегчения.

Потом Эрнст поставил на стол последние бутылки красного вина и принес шесть бокалов.

— Шесть, — заметил он сквозь слезы, разливая вино по бокалам. — Один — для портрета его любимой и один — для него самого...

Потом Эрнст взял автопортрет Фрица и повесил его на то место, где раньше висел портрет Лу.

— Таково время, — произнес он, грустно улыбнувшись. — Красивый оригинал скончался, и любовь, тосковавшая по нему, умолкла. Новая любовь вызывает к новому портрету. Вскоре умолкнет и эта тоска, и от нас самих ничего на этой земле не останется, кроме памяти в каком-то сердце, сильно любившем нас. Жизнь утекает сквозь пальцы. Когда твое самое дорогое сокровище у тебя в руках, ты этого не осознаешь — и понимаешь лишь тогда, когда оно ускользнет. Тогда настанет время жалеть себя и жаловаться на судьбу. Давайте возьмем свою молодость в собственные руки и поднимем ее как можно выше к свету. Да, Элизабет права — его заветы живут в нас. И в память о нем мы должны не жаловаться, а жить так, как жил он. Давайте выпьем последний бокал в память о прекрасном портрете и — молча, но со слезами — еще один в память о нем и о нашей клятве.

Торжественно зазвенели сдвинутые бокалы.

Эрнст дрожащими руками зажег свечи перед автопортретом покойного. Пламя свечей, как всегда, колыхалось и трепетало, и казалось, будто картина живая — карие глаза светились, а уста ласково улыбались.

Сумерки сгустились. Все было, как раньше, — только Его не было с ними. Несмотря на благие намерения, все вновь расплакались.

Весна, до которой так хотелось дожить Фрицу, наступила во всем своем великолепии. Зяблики запивались, жаворонки ликовали, деревья шумели кронами, ветер приносил весенние ароматы.

Близилось лето.

Эрнст ничего этого не слышал и не воспринимал. Он сидел в Приюте Грез и писал. Весны он вообще не заметил, а наступление ночи ощущал лишь из-за того, что не мог больше писать. Он трудился над большим произведением в память о Фрице. Когда нотное перо падало из пальцев и Эрнст устало откидывался на спинку кресла, перед его внутренним взором, словно заблудшее привидение, проходила вся его жизнь. Он растерял все, осталась лишь спокойная любовь к Элизабет. Теперь он уже не понимал, как мог хотя бы минуту думать о Ланне. Элизабет он уже давно не видел.

Наконец Эрнст вчерне закончил свой труд. В тот день, когда он отложил в сторону перо, пришло письмо от Бонна, директора Музыкального театра, в котором тот предлагал Эрнсту место капельмейстера в Мюнхене на весьма благоприятных условиях. Эрнст отложил письмо в сторону. После только что законченного труда ему показалось тесно в четырех стенах. Он вышел из дома и только тут заметил, что на дворе лето.

Эрнст направился к городскому валу, бродил там среди деревьев и удивлялся, как свободно и легко вновь бьется его сердце после многих недель напряженного труда.

И вдруг увидел Элизабет. Он поспешил ей навстречу и сказал почти в своей прежней манере:

— Пойдем, Элизабет, я закончил одну прекрасную вещь, пошли скорее!

Она в изумлении уставилась на него. Прежний Эрнст вновь проступал наружу, хотя был тише и немного сдержаннее, чем раньше.

— Пойдем в Приют Грез!

По дороге Эрнст рассказал о своем произведении.

— Это не реквием, Элизабет. Скорее это можно было бы назвать музыкальной пьесой для сцены.

Они поднялись по лестнице в мастерскую. Эрнст торопливо вынул из ящика нотные листы и поставил их на пюпитр рояля.

— Недавно судебная инстанция прислала мне завешание Фрица. Текст его предельно краток: «Все, что я имею, принадлежит моему другу Эрнсту Винтеру». Значит, мы можем пользоваться Приютом Грез еще полгода. Вот это — ноты для певицы. В целом текст состоит из стихотворений Фрица и других авторов. Имеется, конечно, партитура для оркестра, а также партии солистов и хора. Сцена изображает аллегории жизни. Первая тема называется так: «Розы — цветы его любви». В зрительном зале темно, как при обычном спектакле. Оркестр очень тихо исполняет увертюру. Серебряная флейта доминирует над рокотанием септаккорда в соль-бемоль мажор. Медленными терциями мелодия флейты опадает, словно мелкие брызги фонтана, и над бормотанием хора взвывается ввысь страстная партия альты: «Розы — цветы его любви».

Эрнст играл и одновременно комментировал:

— Занавес поднимается. В голубых сумерках стоит женщина, склонившаяся над мраморной урной, усыпанной розами. Мало-помалу светлеет. Занавес падает. Это все прелюдия. Оркестр вступает полнозвучно, длинными аккордами. Между аккордами то и дело звучит арфа в тональности бемоль мажор. Скрипка взвывается ввысь на дрожащих от радости нотах. Поднимается занавес. Восход солнца, море. У самой кромки — силуэт мужчины в черном. Он протягивает руки навстречу светилу. Солист исполняет гимн солнцу. Вторая картина: «Творчество». Оркестр зала. А. тон, вступает мужской голос, женский радостно вьется вокруг него, подключаются другие голоса, и в завершение мощный хор исполняет гимн творчеству. Картина третья. Каменная стена в лунном свете. Над ней — две сплетенные руки. Фаготы играют любовную тоску. Низкий бас нависает и парит над гулками переходами рыдающего оркестра. Мелодия безутешного отчаяния глухо жалуется и умолкает. Аромат сирени в лунную ночь. Серебристый свет и трогательные голоса скрипок. В тени сиреневого куста на коленях перед женщиной стоит мужчина. Скрипки поют о любви, их мелодия нарастает, общее ликование — и вдруг мрачный мотив виолончели, заглушающий чарующие мечты. Опять нарастание — торжество — свет и благодать. Мужчина стоит во весь рост, женщина прильнула к его плечу. Мерцающий свет, пылкое блаженство, оглушительно гремит гимн любви... Самоотречение. За столом сидит мужчина, подперев руками взлохмаченную голову. Глухо рокочет оркестр. Беспорядочные, режущие слух диссонансы врываются в зал. Мужчина приподнимает голову — мимо быстро проносится короткий блаженный сон, — потом вновь понуро опускает ее. Плач. Внезапно все смолкает... Новая картина. Голубые сумерки. Снежные вершины гор. На переднем плане — урна. Дивная оркестровая пауза, прерываемая длинными грустными аккордами. Медленно загораются звезды. Смелый хроматизм мелодий. Вершины гор начинают сверкать. Мало-помалу становится различим первый план. На земле лежит мужчина. Слегка приподнимается, прислушиваясь. Голубой легкий полог распахивается, пропуская вперед дивную красавицу. Сумерки становятся более серебристыми, музыка — более звучной и громкой. Озаренный серебристым сиянием, мужчина встает во весь рост. Чувство облегчения отражается на его челе. Он опускается на колени. Чудо-красавица склоняется над ним. На сцене все в серебре и в светлых тонах. Человечество... Сцена темнеет. Тихая мелодия песни: «Моя весна — в тебе вся жизнь». Чудо красавица подходит к урне и кладет на нее розы. Занавес падает. Оркестр затихает под благодатные звуки арфы...

Эрнст весь горел от возбуждения. Красные пятна проступили на его щеках. Элизабет, увлекшись, склонилась над ним, чтобы следить по нотам. Стемнело.

— Мертв! Мертв! — внезапно воскликнул Эрнст, полной мерой ощутив боль. — Все потеряно, все... Это — мое последнее усилие. Теперь хочу последовать за ним — умереть... Что мне еще остается? Я любил в жизни только могилы... Легкомысленно ввязался в игру и проиграл. Я хочу уметь — глухо сказал он. — Теперь я знаю свой путь.

— Нет, ты должен жить, — сказал голос из темноты.

— Но ведь я все потерял, Элизабет. Фриц умер... — Эрнст застонал. — Фриц мертв. А ты, Элизабет... — Он был вне себя от волнения. — Сними с моей души, по крайней мере, то, что меня мучает и не дает уснуть ночами. Скажи, что ты простила мне грехи, которые я взвалил на тебя, иначе я сгорю от презрения к себе. Тогда я тихо удалюсь и не буду больше попадаться тебе на твоём светлом пути.

Элизабет побледнела так, что ни кровинки в лице не осталось.

— Все хорошо, Эрнст.

Он безутешно покачал головой и сказал угрюмо:

— Ты еще ничего не знаешь?

— Я люблю тебя, Эрнст...

Он даже вскрикнул от боли.

— Элизабет, не будь такой жестокой! Не представляй мои утраты в розовом свете! Не отягощай так страшно свой отказ!

Золотые блики заката играли в волосах Элизабет и отсвечивали в ее глазах.

— Я люблю тебя, Эрнст.

— Элизабет! — его кресло с грохотом полетело на пол. — Ты еще не знаешь... Я познал другую женщину... Я тебе изменил и тысячу раз опозорил тебя.

Элизабет спокойно и величественно стояла перед ним, ее чудесный голос четко и ясно произнес:

— Я все знаю, Эрнст!

Он попытался найти какую-нибудь опору.

— Ты... ты... все знаешь? И то, что я... эту женщину...

— Я знаю все, Эрнст.

Отшатнувшись от нее, он отступал все дальше и дальше.

— И ты... Ты говоришь... Нет, это невозможно... Элизабет!!! Я умру на месте, если это неправда!

— Я люблю тебя, Эрнст!

Вопль — ликующий, слезный, заикающийся, дрожащий, рыдающий, торжествующий:

— Элизабет!!! Миньона!!

Он распростерся у ее ног.

— Любимый мой.

— Миньона... Миньона... Миньона...

Стало совсем темно.

— Скажи мне, любимая, почему ты смилостивилась надо мной, нищим грешником?

— Твои поступки — не грех, а блуждание. Даже не блуждание. Просто путь, по которому тебе пришлось идти, был путем во мраке. Но теперь ты вновь обрел самого себя.

— В тебе, любимая.

— Пройдя путь от Я к Ты, — задумчиво заключила Элизабет.

— Как жаль, что Фриц не дожил до этого!

— Но он это знал.

— Он знал? Фриц... Мой верный друг... Значит, ты и в смерти был верен мне до конца... Своей смертью ты указал мне путь к себе. О, Фриц! Пойдем к нему.

Рука об руку они поднялись в Приют Грез. Эрнст зажег свечи в Бетховенском уголке перед портретом любимого покойного друга. Свечи отбрасывали золотые блики на ангельское лицо Элизабет. Эрнст залюбовался ею и наконец осознал все значение своего счастья: после блужданий он вновь нашел свою родину, свой путь в жизни. Чувство облегчения пришло и к нему. Он крепко обнял Элизабет и сказал прерывающимся голосом:

— Фриц! Любимый друг мой... Твои дети вернулись на родину. Благодаря тебе. Я вновь нашел свой путь, Фриц... И держу в объятиях свое счастье. Я — это Ты...

Пламя свечей отбрасывало светлые блики на автопортрет Фрица. И казалось, будто его карие глаза светятся, а добрые уста улыбаются.

1920